

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО  
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ  
ЭСТОНСКОЙ ССР  
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

**СБОРНИК ТЕКСТОВ  
ПО  
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ**

**ДЛЯ ЭСТОНСКИХ ГРУПП СРЕДНИХ  
СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ**

ТАЛЛИН 1964

-21659'

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО  
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ  
ЭСТОНСКОЙ ССР  
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

УТВЕРЖДЕНО

Учебно-методическим управлением Гос-  
комитета высшего и среднего специального  
образования Совета Министров ЭССР  
июнь 1964

СБОРНИК ТЕКСТОВ  
ПО  
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

ДЛЯ ЭСТОНСКИХ ГРУПП СРЕДНИХ  
СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

ТАЛЛИН 1964

Составлен республиканской предметной комиссией русского языка  
и литературы под редакцией Л. Ольв



ARHIIVKOGU

## А. С. ПУШКИН

(1799—1837)

### Памятник.

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,  
К нему не зарастёт народная тропа,  
Вознёсся выше он главою непокорной  
Александрийского столпа.

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире  
Мой прах переживёт и тленье убежит —  
И славен буду я, доколь в подлунном мире  
Жив будет хоть один пиит.

Слух обо мне пройдёт по всей Руси великой,  
И назовёт меня всяк сущий в ней язык,  
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий  
Тунгус, и друг степей калмык.

И долго буду тем любезен я народу,  
Что чувства добрые я лирой пробуждал,  
Что в мой жестокий век восславил я Свободу  
И милость к падшим призывал.

Веленью божию, о Муза, будь послушна,  
Обиды не страшась, не требуя венца,  
Хвалу и клевету приемли равнодушно,  
И не оспаривай глупца.

# ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН

(Роман в стихах)

(Отрывки)

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

И жить торопится, и чувствовать спешит ...

*П. Вяземский.*

### I.

«Мой дядя самых честных правил,  
Когда не в шутку занемог,  
Он уважать себя заставил,  
И лучше выдумать не мог;  
Его пример другим наука;  
Но, боже мой, какая скука  
С больным сидеть и день и  
ночь,  
Не отходя ни шагу прочь!  
Какое низкое коварство  
Полуживого забавлять,  
Ему подушки поправлять,  
Печально подносить лекарство,  
Вздыхать и думать про себя:  
Когда же чёрт возьмёт тебя!»

### II.

Так думал молодой повеса,  
Летя в пыли на почтовых,  
Всевышней волею Зевеса  
Наследник всех своих родных.  
Друзья Людмилы и Руслана!  
С героем моего романа  
Без предисловий сей же час  
Позвольте познакомить вас:  
Онегин, добрый мой приятель,  
Родился на берегах Невы,  
Где, может быть, родились вы,  
Или блистали, мой читатель!  
Там некогда гулял и я;  
Но вреден север для меня.

### III.

Служив отлично, благородно,  
Долгами жил его отец,  
Давал три бала ежегодно,  
И промотался наконец.  
Судьба Евгения хранила:  
Сперва Madame за ним  
ходила,  
Потом Monsieur её сменил.  
Ребёнок был резов, но мил.  
Monsieur l'Abbe, француз  
убогий,  
Чтоб не измучилось дитя,  
Учил его всему шутя,  
Не докучал моралью строгой,  
Слегка за шалости бранил,  
И в Летний сад гулять водил.

### IV.

Когда же юности мятежной  
Пришла Евгению пора,  
Пора надежд и грусти нежной,  
Monsieur прогнали со двора.  
Вот мой Онегин на свободе;  
Острижен по последней моде;  
Как dandy лондонский одет —  
И наконец увидел свет.  
Он по-французски совершенно  
Мог изъясняться и писал;  
Легко мазурку танцевал,  
И кланялся непринуждённо:  
Чего ж вам больше? Свет  
решил,  
Что он умён и очень мил.

## XXXV.

Что ж мой Онегин? Полу-  
сонный  
В постелю с бала едет он:  
А Петербург неугомонный  
Уж барабаном пробуждён.  
Встаёт купец, идёт разносчик,  
На биржу тянется извозчик,  
С кувшином охтенка спешит,  
Под ней снег утренний  
хрустит.

Проснулся утра шум приятный,  
Открыты ставни, трубный дым  
Столбом восходит голубым,  
И хлебник, немец аккуратный,  
В бумажном колпаке, не раз  
Уж отворял свой васисдас.

## XXXVI.

Но шумом бала утомлённый,  
И утро в полночь обратя,  
Спокойно спит в тени  
блаженной

Забав и роскоши дитя.  
Проснётся за полдень, и снова  
До утра жизнь его готова,  
Однообразна и пестра,  
И завтра то же, что вчера.  
Но был ли счастлив мой  
Евгений,  
Свободный, в цвете лучших  
лет,

Среди блистательный побед,  
Среди вседневных наслажде-  
ний?

Вотще ли был он средь пиров  
Неосторожен и здоров?  
Вот наш Онегин сельский  
житель,

Заводов, вод, лесов, земель  
Хозяин полный, а досель  
Порядка враг и расточитель,  
И очень рад, что прежний  
путь  
Переменил на что-нибудь.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

## I.

Деревня, где скучал Евгений,  
Была прелестный уголок;  
Там друг невинных

наслаждений

Благославить бы небо мог.  
Господский дом уединённый,  
Горой от ветров ограждённый,  
Стоял над речкою. Вдали  
Пред ним пестрели и цвели  
Луга и нивы золотые,  
Мелькали сёлы, здесь и там  
Стада бродили по лугам,  
И сени расширял густые  
Огромный, запущённый сад,  
Приют задумчивых Дриад

## II.

Почтенный замок был построен,  
Как замки строиться должны:

Отменно прочен и спокоен,  
Во вкусе умной старины.  
Везде высокие покои,  
В гостиной штофные обои,  
Царей портреты на стенах,  
И печи в пёстрых израсцах.  
Всё это ныне обветшало,  
Не знаю право почему;  
Да, впрочем, другу моему  
В том нужды было очень мало,  
Затем, что он равно зевал,  
Средь модных и старинных  
зал.

## XXV.

Итак, она звалась Татьяной.  
Ни красотой сестры своей,  
Ни свежестью её румяной  
Не привлекла б она очей.  
Дика, печальна, молчалива,

Как лань лесная боязлива,  
Она в семье своей родной  
Казалась девочкой чужой.  
Она ласкаться не умела  
К отцу, ни к матери своей;  
Дитя сама, в толпе детей  
Играть и прыгать не хотела,  
И часто целый день одна  
Сидела молча у окна.

### XXVI.

Задумчивость, её подруга  
От самый колыбельных дней,  
Теченье сельского досуга  
Мечтами украшала ей.  
Её изнеженные пальцы  
Не знали игл: склоняясь

на пальцы,

Узором шёлковым она,  
Не оживляла полотна.  
Охоты властвовать примета:  
С послушной куклою дитя  
Приготавливается шутя  
К приличию — закону света,  
И важно повторяет ей  
Уроки маменьки своей.

### XXVII.

Но куклы даже в эти годы  
Татьяна в руки не брала;  
Про вести города, про моды  
Беседы с нею не вела.  
И были детские проказы  
Ей чужды; страшные рассказы  
Зимою в темноте ночей  
Пленяли больше сердце ей.  
Когда же няня собирала  
Для Ольги на широкий луг  
Всех маленьких её подруг,  
Она в горелки не играла,  
Ей скучен был и звонкий смех,  
И шум их ветреных утех.

### XXVIII.

Она любила на балконе  
Предупреждать зари восход,  
Когда на бледном небосклоне  
Звёзд исчезает хоровод,  
И тихо край земли светлеет,  
И, вестник утра, ветер веет,  
И всходит постепенно день.  
Зимой, когда ночная тень  
Полмиром доле обладает,  
И доле в праздно́й тишине,  
При отуманенной луне,  
Восток ленивый почивает,  
В привычный час пробуждена,  
Вставала при свечах она.

### XXIX.

Ей рано нравились романы;  
Они ей заменяли всё;  
Она влюблялася в обманы  
И Ричардсона<sup>1</sup> и Руссо.  
Отец её был добрый малый,  
В прошедшем веке

запоздалый,

Но в книгах не видал вреда;  
Он, не читая никогда,  
Их почитал пустой игрушкой,  
И не заботился о том,  
Какой у дочки тайный том  
Дремал до утра под подушкой.  
Жена ж его была сама  
От Ричардсона без ума.

### XXX.

Она любила Ричардсона<sup>1</sup>  
Не потому, чтобы прочла,  
Не потому, чтоб Грандисона  
Она Ловласу предпочла;  
Но в старину княжна Алина,  
Её московская кузина,  
Твердила часто ей об них.  
В то время был ещё жених

<sup>1</sup> Ричардсон (1689—1761) — английский романист. Большой известностью пользовались его романы «Кларисса», где главным героем был Ловлас, и «Грандисон».

Её супруг, но по неволе;  
Она вздыхала по другом,  
Который сердцем и умом  
Ей нравился гораздо боле:  
Сей Гграндисон был славный  
франт,  
Игрок и гвардии сержант.

### XXXI.

Как он, она была одета  
Всегда по моде и к лицу; —  
Но не спросясь её совета,  
Девуцу повезли к венцу.  
И чтоб её рассеять горе,  
Разумный муж уехал вскоре  
В свою деревню, где она,  
Бог знает кем окружена,  
Рвалась и плакала сначала,  
С супругом чуть не развелась;  
Потом хозяйством занялась,  
Привыкла, и довольна стала.  
Привычка свыше нам дана:  
Замена счастью она.

### XXXII.

Привычка усладила горе,  
Не отразимое ничем;  
Открытие большое вскоре

Её утешило совсем:  
Она меж делом и досугом  
Открыла тайну, как супругом  
Самодержавно управлять,  
И всё тогда пошло на статью.  
Она езжала по работам,  
Солила на зиму грибы,  
Вела расходы, брила лбы,  
Ходила в баню по субботам,  
Служанок била осердясь —  
Всё это мужа не спросясь.

### XXXV.

Они хранили в жизни мирной  
Привычки милой старины;  
У них на масленице жирной  
Водились русские блины;  
Два раза в год они говели;  
Любили круглые качели,  
Подблюдны песни, хоровод;  
В день троицын, когда народ  
Зевая слушает молебен,  
Умильно на пучок зари  
Они роняли слёзки три;  
Им квас как воздух был  
потребен,  
И за столом у них гостям  
Носили блюда по чинам.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### I.

«Куда! Уж эти мне поэты!»  
— Прощай, Онегин, мне пора.  
«Я не держу тебя; но где ты  
Свои проводишь вечера?»  
— У Лариных. — «Вот это  
чудно.

Помилуй! и тебе не трудно  
Там каждый вечер убивать?»  
— Ни мало. — «Не могу  
понять.

Отселе вижу, что такое:  
Во-первых (слушай, прав  
ли я?),

Простая, русская семья,  
К гостям усердие большое,  
Варенье, вечный разговор  
Про дождь, про лён, про  
скотный двор...»

### II.

— Я тут ещё беды не вижу.  
«Да скука, вот беда, мой друг».  
— Я модный свет ваш  
ненавижу;  
Милее мне домашний круг,  
Где я могу... — «Спать эклога!  
Да полно, милый, ради бога.

Ну что ж? ты едешь? очень  
жаль.

Ах, слушай, Ленский; да  
нельзя ль

Увидеть мне Филлиду эту,  
Предмет и мыслей, и пера,  
И слёз, и рифм et cetera?

Представь меня». — Ты  
шутя. — «Нету».

— Я рад. — «Когда же?»  
— Хоть сейчас.

Они с охотой примут нас.

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

#### IV.

Они дорогой самой краткой  
Домой летят во весь опор.

Теперь подслушаем украдкой  
Героев наших разговор: |

— Ну что ж, Онегин? ты  
зеваешь.

— «Привычка, Ленский». —  
Но скучаешь.

Ты как-то больше. — «Нет,  
равно.

Однако в поле уж темно;  
Скорей! пошёл, пошёл,

Андрюшка!

Какие глупые места!  
А, кстати, Ларина проста,

Но очень милая старушка;

Боюсь: брусничная вода  
Мне не наделала б вреда.

#### V.

Скажи: которая Татьяна?»

— Да та, которая грустна

И молчалива как Светлана,

Вошла и села у окна. —

«Неужто ты влюблён в мень-  
шую?»

— «А что? — «Я выбрал бы  
другую,

Когда б я был как ты поэт.

В чертах у Ольги жизни нет,

Точь в точь в Вандиковой

Мадонне:

Кругла, красна лицом она,

Как эта глупая луна

На этом глупом небосклоне».

Владимир сухо отвечал

И после во весь путь молчал.

#### VI.

Меж тем Онегина явленье

У Лариных произвело

На всех большое впечатленье

И всех соседей развлекло.

Пошла догадка за догадкой.

Все стали толковать украдкой,

Шутить, судить не без греха,

Татьяне прочить жениха;

Иные даже утверждали,

Что свадьба слажена совсем,

Но остановлена затем,

Что модных колец не достали.

О свадьбе Ленского давно

У них уж было решено.

### ГЛАВА ПЯТАЯ

О, не знай сих страшных снов  
Ты, моя Светлана!

*Жуковский.*

#### I.

В тот год осенняя погода  
Стояла долго на дворе,

Зимы ждала, ждала природа.

Снег выпал только в январе

На третье в ночь. Проснувшись

рано,



Без притязаний на успех,  
Без этих маленьких ужимок,  
Без подражательных затей...  
Всё тихо, просто было в ней.  
Она казалась верный снимок  
Du comme il faut... (Шишков,  
прости:  
Не знаю, как перевести.)

### XV.

К ней дамы подвигались  
ближе;  
Старушки улыбались ей;  
Мужчины кланялись ниже,  
Ловили взор её очей;  
Девицы проходили тише  
Пред ней по зале; и всех выше  
И нос и плечи подымал  
Вошедший с нею генерал.  
Никто б не мог её прекрасной  
Назвать: но с головы до ног  
Никто бы в ней найти не мог  
Того, что модой самовластной  
В высоком лондонском кругу  
Зовётся vulgar. Не могу...

### XVI.

Люблю я очень это слово,  
Но не могу перевести;  
Оно у нас покамест ново,  
И вряд ли быть ему в чести.  
Оно б годилось в эпиграмме...  
Но обращаюсь к нашей даме.  
Беспечной прелестью мила,  
Она сидела у стола  
С блестящей Ниной Воронскою,  
Сей Клеопатрою Невы:  
И верно б согласились вы,  
Что Нина мраморной красою  
Затмить соседку не могла,  
Хоть ослепительна была.

### XVII.

«Ужели», думает Евгений:  
«Ужель она? Но точно... Нет...»

Как! из глуши степных  
селений...»  
И неотвязчивый лорнет  
Он обращает поминутно  
На ту, чей вид напомнил  
смутно

Ему забытые черты.  
«Скажи мне, князь, не знаешь  
ты,

Кто там в малиновом берете  
С послем испанским говорит?»  
Князь на Онегина глядит.

— Ага! давно ж ты не был  
в свете.

Постой, тебя представляю я. —  
«Да кто ж она?» — Жена  
моя. —

### XVIII.

«Так ты женат! не знал я ране!  
Давно ли?» — Около двух  
лет. —

«На ком?» — На Лариной. —  
«Татьяне!»  
— Ты ей знаком? — «Я им  
сосед».

— О. так пойдём же. — Князь  
подходит

К своей жене и ей подводит  
Родню и друга своего.  
Княгиня смотрит на него...  
И что ей душу ни смutilo,  
Как сильно ни была она  
Удивлена, поражена,  
Но ей ничто не изменило:  
В ней сохранился тот же тон,  
Был так же тих её поклон.

### XIX.

Ей-ей! не то, чтоб содрогну-  
лась,

Иль стала вдруг бледна,  
красна...

У ней и бровь не шевельну-  
лась;

Не сжала даже губ она.

Хоть он глядел нельзя  
прилежней,  
Но и следов Татьяны прежней  
Не мог Онегин обрести.  
С ней речь хотел он завести  
И — и не мог. Она спросила,  
Данво ль он здесь, откуда он  
И не из их ли уж сторон?  
Потом к супругу обратила  
Усталый взгляд; скользнула  
вон...

И недвижим остался он.

## XX.

Ужель та самая Татьяна,  
Которой он наедине,  
В начале нашего романа,  
В глухой, далёкой стороне,  
В благом пылу нравоученья,  
Читал когда-то наставленья,  
Та, от которой он хранит  
Письмо, где сердце говорит,  
Где всё наруже, всё на воле,  
Та девочка... иль это сон?..  
Та девочка, которой он  
Пренебрегал в смиренной доле.  
Ужели с ним сейчас была  
Так равнодушна, так смела?

## XXI.

Он оставляет раут тесный,  
Домой задумчив едет он;  
Мечтой то грустной, то  
прелестной  
Его встревожен поздний сон.  
Проснулся он; ему приносят  
Письмо: князь N покорно  
просит  
Его на вечер. «Боже! к ней!..  
О буду, буду!» и скорей  
Марают он ответ учтивый,  
Что с ним? в каком он  
странном сне,  
Что щевельнулось в глубине

Души холодной и ленивой?  
Досада? суетность? иль вновь  
Забота юности — любовь?

## XXII.

Онегин вновь часы считает,  
Вновь не дожждётся дню конца.  
Но десять бьёт; он выезжает,  
Он полетел, он у крыльца,  
Он с трепетом к княгине

входит;

Татьяну он одну находит,  
И вместе несколько минут  
Они сидят. Слова нейдут  
Из уст Онегина. Угрюмый,  
Неловкий, он едва-едва  
Ей отвечает. Голова  
Его полна упрямой думой.  
Упрямо смотрит он: она  
Сидит спокойна и вольна.

## XXXIX.

Дни мчались; в воздухе  
нагретом  
Уж разрешалася зима;  
И он не сделался поэтом,  
Не умер, не сошёл с ума.  
Весна живит его: впервые  
Свои покои запертые,  
Где зимовал он, как сурок,  
Двойные окна, камелёк  
Он ясным утром оставляет,  
Несётся вдоль Невы в санях.  
На синих, иссечённых льдах  
Играет солнце; грязно тает  
На улицах разрытый снег.  
Куда по нём свой быстрый бег

## XL.

Стремит Онегин? Вы заране  
Уж угадали; точно так:  
Примчался к ней, к своей  
Татьяне  
Мой неисправленный чудака.  
Идёт, на мертвеца похожий.

Нет ни одной души в  
прихожей.  
Он в залу; дальше; никого.  
Дверь отворил он. Что ж его  
С такою силой поражает?  
Княгиня перед ним, одна,  
Сидит, не убрана, бледна,  
Письмо какое-то читает  
И тихо слёзы льёт рекой,  
Опершись на руку щекой.

#### XLI.

О, кто б немых её страданий  
В сей быстрый миг не  
прочитал!  
Кто прежней Тани, бедной  
Тани  
Теперь в княгине б не узнал!  
В тоске безумных сожалений  
К её ногам упал Евгений;  
Она вздрогнула и молчит:  
И на Онегина глядит  
Без удивления, без гнева...  
Его больной, угасший взор,  
Молящий вид, немой укор,  
Ей внятно всё. Простая дева,  
С мечтами, сердцем прежних  
дней  
Теперь опять воскресла в ней.

#### XLII.

Она его не подымает,  
И, не сводя с него очей,  
От жадных уст не отымает  
Бесчувственной руки своей...  
О чём теперь её мечтанье?  
Проходит долгое молчанье,  
И тихо наконец она:  
«Довольно; встаньте. Я должна  
Вам объяснитьсь откровенно.  
Онегин, помните ль тот час,  
Когда в саду, а аллее нас  
Судьба свела, и так смиренно  
Урок ваш выслушала я?  
Сегодня очередь моя.

#### XLIII.

«Онегин, я тогда моложе,  
Я лучше, кажется, была,  
И я любила вас; и что же?  
Что в сердце вашем я нашла?  
Какой ответ? одну суровость.  
Не правда ль? Вам была  
не новость  
Смирненной девочки любовь?  
И нынче — боже! — стынет  
кровь,  
Как только вспомню взгляд!  
холодный  
И эту проповедь... Но вас  
Я не виню: в тот страшный  
час  
Вы поступили благородно,  
Вы были правы предо мной:  
Я благодарна всей душой...

#### XLIV.

«Тогда — не правда ли? —  
в пустыне,  
Вдали от суетной молвы,  
Я вам не нравилась... Что ж  
ныне  
Меня преследуете вы?  
Зачем у вас я на примете?  
Не потому ль, что в высшем  
свете  
Теперь являться я должна;  
Что я богата и знатна,  
Что муж в сраженьях изувечен,  
Что нас за то ласкает двор?  
Не потому ль, что мой позор  
Теперь бы всеми был замечен,  
И мог бы в обществе принести  
Вам соблазнительную честь?»

#### XLV.

«Я плачу... если вашей Тани  
Вы не забыли до сих пор,  
То знайте: колкость вашей  
брани,  
Холодный, строгий разговор,





## СМЕРТЬ ПОЭТА

(1837)

(Отрывки.)

Погиб поэт! — невольник чести —  
Пал, оклеветанный молвой,  
С свинцом в груди и жаждой мести,  
Поникнув гордой головой!..  
Не вынесла душа поэта  
Позора мелочных обид,  
Восстал он против мнений света  
Один как прежде . . . и убит!

. . . . .

Его убийца хладнокровно  
Навёл удар . . . спасенья нет:  
Пустое сердце бьётся ровно,  
В руке не дрогнул пистолет,  
И что за диво? . . . из далёка,  
Подобный сотням беглецов,  
На ловлю счастья и чинов  
Заброшен к нам по воле рока <sup>1</sup>,  
Смеясь, он дерзко презирал  
Земли чужой язык и нравы;  
Не мог щадить он нашей славы;  
Не мог понять в сей миг <sup>2</sup> кровавый,  
На что он руку поднимал! . .

. . . . .

Вы, жадною толпой стоящие у трона,  
Свободы, Гения и Славы палачи!  
Таитесь вы под сению закона <sup>3</sup>,  
Пред вами суд и правда — всё молчи! . .  
Но есть, есть божий суд; наперсники <sup>4</sup> разврата!  
Есть грозный судия: он ждёт;  
Он не доступен звону злата <sup>5</sup>,  
И мысли и дела он знает наперёд,  
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:  
Оно вам не поможет вновь,  
И вы не смоете всей вашей чёрной кровью  
Поэта праведную кровь!

<sup>1</sup> Рок (устар.) — судьба.

<sup>2</sup> В сей миг (слав.) — в этот момент.

<sup>3</sup> Под сению закона — здесь: под защитой закона.

<sup>4</sup> Наперсник (устар.) — любимец.

<sup>5</sup> Злата (слав.) — золота.

# БОРОДИНО

(1837)

(Отрывки.)

Забил заряд я в пушку туго  
и думал: угощу я друга!  
Постой-ка, брат, мусью<sup>1</sup>:  
что тут хитрить, пожалуй к бою:  
уж мы пойдём ломить стеною,  
уж постоим мы головою  
за родину свою!

Два дня мы были в перестрелке.  
Что толку в этакой безделке?  
Мы ждали третий день.  
Повсюду стали слышны речи:  
«Пора добратся до картечи!»<sup>2</sup>  
И вот на поле грозной сечи<sup>3</sup>  
ночная пала тень.

Прилѣг вздремнуть я у лафета<sup>4</sup>,  
и слышно было до рассвета,  
как ликовал француз.  
Но тих был наш бивак<sup>5</sup> открытый:  
кто кивер<sup>6</sup> чистил весь избитый,  
кто штык точил, ворча сердито,  
кушая длинный ус.

И только небо засветилось,  
всѣ шумно вдруг зашевелилось,  
сверкнул за строем строй.  
Полковник наш рождѣн был хватом<sup>7</sup>:  
слуга царю, отец салдатам ...  
Да, жаль его: сражѣн булатом<sup>8</sup>,  
он спит в земле сырой.

И молвил<sup>9</sup> он, сверкнув очами:  
«Ребята! не Москва ль за нами?»

<sup>1</sup> Мусью — мосьё.

<sup>2</sup> Картечь — артиллерийский снаряд (на близкое расстояние.)

<sup>3</sup> Сечи — битвы.

<sup>4</sup> Лафет — станок под артиллерийское орудие.

<sup>5</sup> Бивак — стоянка войск под открытым небом.

<sup>6</sup> Кивер — головной убор воинских частей.

<sup>7</sup> Рождѣн был хватом — родился ловким.

<sup>8</sup> Булат — меч.

<sup>9</sup> Молвил — сказал.

Умрёмте ж под Москвой,  
как наши братья умирали!»  
И умереть мы обещали,  
и клятву верности сдержали  
мы в Бородинский бой.

Ну ж был денёк! Сквозь дым летучий  
французы двинулись, как тучи,  
и всё на наш редут.  
Уланы<sup>1</sup> с пёстрыми значками,  
драгуны<sup>2</sup> с конскими хвостами  
все промелькнули перед нами,  
все побывали тут.

Вам не видать таких сражений! . .  
Носились знамена, как тени.

В дыму огонь блестел,  
звучал булат, картечь визжала,  
рука бойцов колоть устала,  
и ядрам пролететь мешала  
гора кровавых тел.

Изведал<sup>3</sup> враг в тот день немало,  
что значит русский бой удалый,  
наш рукопашный бой! . .

Земля тряслась — как наши груди,  
смешались в кучу кони, люди,  
и залпы тысячи орудий  
слились в протяжный вой . . .

Вот смерклось. Были все готовы  
заутра<sup>4</sup> бой затеять<sup>5</sup> новый  
и до конца стоять . . .

Вот затрещали барабаны —  
и отступили басурманы<sup>6</sup>.  
Тогда считать мы стали раны,  
товарищей считать.

Да, были люди в наше время,  
могучее, лихое племя:  
богатыри — не вы.

Плохая им досталась доля:  
немногие вернулись с поля.  
Когда б на то не божья воля,  
не отдали б Москвы.

---

<sup>1</sup> Уланы — легкая кавалерия (с пиками).

<sup>2</sup> Драгуны — кавалеристы.

<sup>3</sup> Изведал — узнал.

<sup>4</sup> Заутра — с утра.

<sup>5</sup> Затеять — начать.

<sup>6</sup> Басурманы — басурмане — иноземцы, люди из чужой страны.

## ДУМА

(1838)

(Отрывки.)

Печально я гляжу на наше  
поколенье!  
Его грядущее — иль пусто, иль  
темно,  
Меж тем, под бременем  
познания и сомненья,  
В бездействии состарится оно.  
К добру и злу постыдно  
равнодушны,  
В начале поприща мы вянем  
без борьбы:  
Перед опасностью позорно-  
малодушны,  
И перед властью —  
презренные рабы.  
И ненавидим мы, и любим мы  
случайно,

Ничем не жертвуя ни злобе,  
ни любви,  
И царствует в душе какой-то  
холод тайный  
Когда огонь кипит в крови.  
Толпой угрюмою и скоро  
позабытой  
Над миром мы пройдем без  
шума и следа,  
Не бросивши векам ни мысли  
плодовитой,  
Ни гением начатого труда.  
И прах наш, с строгостью  
судьи и гражданина,  
Потомок оскорбит  
презрительным стихом,  
Насмешкой горькою  
обманутого сына  
Над промотавшимся отцом.

(1841)

Выхожу один я на дорогу;  
Сквозь туман кремнистый  
путь блестит;  
Ночь тиха. Пустыня внемлет  
богу,  
И звезда с звездой говорит.  
В небесах торжественно и  
чудно!  
Спит земля в сияньи голубом...  
Что же мне так больно и так,  
трудно?  
Жду ль чего? жалею ли  
о чём?  
Уж не жду от жизни ничего я,  
И не жаль мне прошлого  
ничуть;  
Я ищу свободы и покоя!

Я б хотел забыться и  
заснуть! —  
Но не тем холодным сном  
могилы...  
Я б желал навеки так заснуть,  
Чтоб в груди дремали жизни  
силы,  
Чтоб дыша вздымалась тихо  
грудь,  
Чтоб всю ночь, весь день мой  
слух лелея,  
Про любовь мне сладкий  
голос пел,  
Надо мной чтоб вечно зеленея  
Тёмный дуб склонялся и  
шгмел.

## И СКУЧНО И ГРУСТНО

(1840)

И скучно, и грустно, и некому руку подать  
В минуту душевной невзгоды...  
Желанья!.. что пользы напрасно и вечно желать?  
А годы проходят — всё лучшие годы!  
Любить... но кого же? — на время не стоит труда,  
А вечно любить невозможно...  
В себя ли заглянешь? — там прошлого нет и следа,  
И радость, и муки, и всё там ничтожно.  
Что страсти? — ведь рано иль поздно их сладкий недуг  
Исчезнет при слове рассудка,  
И жизнь как посмотришь с холодным вниманьем вокруг —  
Такая пустая и глупая шутка!

### ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ.

Часть I.

БЭЛА.

(Отрывок.)

... Вот извольте видеть, я тогда стоял в крепости за Тереком с ротой — этому скоро пять лет. Раз, осенью, пришёл транспорт с провиантом: в транспорте был офицер, молодой человек лет двадцати пяти. Он явился ко мне в полной форме и объявил, что ему велено остаться у меня в крепости. Он был такой тоненький, беленький, на нём мундир был такой новенький, что я тотчас догадался, что он на Кавказе у нас недавно. «Вы верно, — спросил я его: — переведены сюда из России?» — «Точно так, господин штабс-капитан», — отвечал он. — Я взял его за руку и сказал: «Очень рад, очень рад. Вам будет немножко скучно... ну, да мы с вами будем жить по-приятельски. Да, пожалуйста, зовите меня просто Максим Максимыч, и пожалуйста — к чему эта полная форма? приходите ко мне всегда в фуражке». Ему отвели квартиру, и он поселился в крепости.

— А как его звали? — спросил я Максима Максимыча.

— Его звали... Григорьем Александровичем Печорным. Славный был малый, смею вас уверить; только немножко странный. Ведь, например, в дождик, в холод, целый день на охоте; все иззябнуть, устанут, — а ему ничего. А другой раз сидит у

себя в комнате, ветер пахнёт, уверяет, что простудился; ставнем стукнет, он вздрогнет и побледнеет, а при мне ходил на кабана один на один; бывало, по целым часам слова не добьёшься, зато уж иногда как начнёт рассказывать, так животики надорвёшь со смеха... Да-с, с большими странностями, и должно быть богатый человек: сколько у него было разных дорогих вещиц!..

— А долго он с вами жил? — спросил я опять.

— Да с год. Ну да уж зато памятен мне этот год; наделал он мне хлопот, не тем будь помянут! Ведь есть, право, этакие люди, у которых на роду написано, что с ними должны случаться разные необыкновенные вещи!

— Необыкновенные? — воскликнул я с видом любопытства, подливая ему чая.

А вот я вам расскажу. Верст шесть от крепости жил один мирной князь<sup>1</sup>. Сынишко его, мальчик лет пятнадцати, повадился к нам ездить<sup>2</sup>: всякий день бывало то за тем, то за другим. И уж точно избаловали мы его с Григорьем Александровичем. А уж какой был головорез<sup>3</sup>, проворный на что хочешь: шапку ли поднять на всём скаку, из ружья ли стрелять. Одно было в нём нехорошо: ужасно падок<sup>4</sup> был на деньги. Раз, для смеха, Григорий Александрович обещался ему дать червонец<sup>5</sup>, коли он ему украдёт лучшего козла из отцовского стада; и что же вы думаете? на другую же ночь притащил его за рога. А, бывало, мы его вздумаем дразнить, так глаза кровью и нальются, и сейчас за кинжал. «Эй, Азамат, не сносить тебе головы, — говорил я ему: — яман будет твоя башка!»<sup>6</sup>

Раз приезжает сам старый князь звать нас на свадьбу: он отдавал старшую дочь замуж, а мы были с ним кунаки<sup>7</sup>: так нельзя же, знаете, отказаться, хоть он и татарин. Отправились. В ауле<sup>8</sup> множество собак встретило нас громким лаем. Женщины, увидя нас, прятались; те, которых мы могли рассмотреть в лицо, были далеко не красавицы. «Я имел гораздо лучшее мнение о черкешенках», — сказал мне Григорий Александрович. — «Погодите!» — отвечал я, усмехаясь. У меня было своё на уме.

У князя в сакле<sup>9</sup> собралось уже множество народа. У азиатов<sup>10</sup>, знаете, обычай всех встречных и поперечных<sup>11</sup> пригла-

<sup>1</sup> Мирной князь — князь, замирившийся с русским правительством.

<sup>2</sup> Повадился к нам ездить — стал часто к нам ездить.

<sup>3</sup> Головорез — отчаянный, бесстрашный.

<sup>4</sup> Падок был — очень любил, имел страсть.

<sup>5</sup> Червонец — золотая монета.

<sup>6</sup> Яман будет твоя башка! — плохо будет твоей голове.

<sup>7</sup> Кунак — приятель.

<sup>8</sup> Аул — горное селение у кавказских горцев.

<sup>9</sup> Сакля — жилище у кавказских горцев.

<sup>10</sup> Азиаты — жители Азии (так называли их в те времена).

<sup>11</sup> В всех встречных и поперечных — всех, кого ни встретят.

шать на свадьбу. Нас приняли со всеми почестями и повели в кунацкую<sup>1</sup>. Я однако ж не позабыл подметить, где поставили наших лошадей, знаете, для непредвидимого случая.

— Как же у них празднуют свадьбу? — спросил я штабс-капитана.

— Да обыкновенно. Сначала мулла<sup>2</sup> прочитает им что-то из Корана<sup>3</sup>; потом дарят молодых<sup>4</sup> и всех их родственников; едят, пьют бузу<sup>5</sup>; потом начинается джигитовка<sup>6</sup>, и всегда один какой-нибудь оборвыш<sup>7</sup>, засаленный, на скверной, хромо́й лоша́дёнке, ломается, паясничает, смешит честную компанию; потом, когда смеркнется, в кунацкой начинается, по-нашему сказать, бал. Бедный старичишка бренчит на трёхструнной... забыл как по ихнему<sup>8</sup>... ну, да вроде нашей балалайки. Девки и молодые ребята становятся в две шеренги, одна против другой, хлопают в ладоши и поют. Вот выходит одна девка и один мужчина на середину и начинают говорить друг другу стихи нараспев, что попало, а остальные подхватывают хором. Мы с Печориным сидели на почётном месте, и вот к нему подошла меньшая дочь хозяина, девушка лет шестнадцати, и пропела ему... как бы сказать?... вроде комплимента.

— А что ж такое она пропела, не помните ли?

— Да, кажется, вот так: «Стройны, дескать<sup>9</sup>, наши молодые джигиты, и кафтаны на них серебром выложены, а молодой русский офицер стройнее их, галуны на нём золотые. Он как тополь между ними; только не расти, не цвести ему в нашем саду». Печорин встал, поклонился ей, приложив руку ко лбу и сердцу, и просил меня отвечать ей; я хорошо знаю по-ихнему и перевёл его ответ.

Когда она от нас отошла, тогда я шепнул Григорью Александровичу: «Ну что, какова?»

— Прелесть! — отвечал он: — а как её зовут? — «Её зовут Бэлою», — отвечал я.

И точно, она была хороша: высокая, тоненькая, глаза чёрные, как у горной серны, так и заглядывали к вам в душу. Печорин в задумчивости не сводил с неё глаз, и она частенько исподлобья на него посматривала. Только не один Печорин любовался хорошенькой княжной: из угла комнаты на неё смотрели другие два глаза, неподвижные, огненные. Я стал вглядываться и узнал моего старого знакомого Казбича. Он, знаете, был не то,

<sup>1</sup> Кунацкая — гостиная у кавказских горцев.

<sup>2</sup> Мулла — мусульманский священник.

<sup>3</sup> Коран — книга, излагающая учение Магомета.

<sup>4</sup> Молодые — здесь: муж и жена, только что вступившие в брак.

<sup>5</sup> Буза — пиво из проса, опьяняющий напиток.

<sup>6</sup> Джигитовка — сложные упражнения на скачущей лошади.

<sup>7</sup> Оборвыш (разг.) — плохо одетый человек, в рваной одежде.

<sup>8</sup> По-ихнему (непр.) — на их языке.

<sup>9</sup> Дескать (разг.) — так сказать.

чтоб мирной, не то, чтоб не мирной. Подозрений на него было много хоть он ни в какой шалости не был замечен. Бывало, он приводил к нам в крепость баранов и продавал дешёво, только никогда не торговался: что запросит, давай, — хоть зарежь, не уступит. Говорили про него, что он любит таскаться за Кубань с абреками<sup>1</sup>, и, правду сказать, рожа у него была самая разбойничья: маленький, сухой, широкоплечий. . . А уж ловок-то, ловок-то был, как бес! Бешмет<sup>2</sup> всегда изорванный, в заплатках, а оружие в серебре. А лошадь его славилась в целой Кабарде<sup>3</sup>, — и точно, лучше этой лошади ничего выдумать невозможно. Не даром ему завидовали все наездники, и не раз пытались её украсть, только не удавалось. Как теперь гляжу на эту лошадь: вороная, как смоль, ноги — струнки, и глаза не хуже, чем у Бэлы; а какая сила! скачи хоть на 50 вёрст; а уж выезджена — как собака бегаёт за хозяином, голос даже его знала! Бывало, он её никогда и не привязывает. Уж такая разбойничья лошадь! . .

В этот вечер Казбич был угрюмее, чем когда-нибудь, и я заметил, что у него под бешметом надета кольчуга. «Недаром на нём эта кольчуга, — подумал я: — уж он верно что-нибудь замышляет».

Душно стало в сакле, и я вышел на воздух освежиться. Ночь уж ложилась на горы, и туман начинал бродить по ущельям.

Мне вздумалось завернуть под навес, где стояли наши лошади, посмотреть, есть ли у них корм, и притом осторожность никогда не мешает: у меня же была лошадь славная, и уж не один кабардинец на неё умильно поглядывал, приговаривая: якши тхе, чек якши!<sup>4</sup>

Пробираюсь вдоль забора и вдруг слышу голоса; один голос я тотчас узнал: это был повеса Азамат, сын нашего хозяина; другой говорил реже и тише. «О чём они тут толкуют?» подумал я: «уж не о моей ли лошадке?» Вот присел я у забора и стал прислушиваться, стараясь не пропустить ни одного слова. Иногда шум песен и говор голосов, вылетая из сакли, заглушали любопытный для меня разговор.

— Славная у тебя лошадь! — говорил Азамат: — если б я был хозяин в доме и имел табун в триста кобыл, то отдал бы половину за твоего скакуна, Казбич!

— Да, — отвечал Казбич после некоторого молчания: — в целой Кабарде не найдёшь такой. Раз, — это было за Терекком, я ездил с абреками отбивать русские табуны; нам не повезло, и мы рассыпались кто куда. За мной неслись четыре казака; уж я слышал за собой крики и передо мною был густой

<sup>1</sup> Абрек — у кавказских горцев: удалец; горец-партизан.

<sup>2</sup> Бешмет — стёганый полукафтан (вид национальной одежды).

<sup>3</sup> Кабарда — область на Северном Кавказе; теперь Кабардинская АССР.

<sup>4</sup> Якши тхе, чек якши — хорошая лошадь, очень хорошая.

лес. Прилёг я на седло и первый раз в жизни оскорбил коня ударом плети. Как птица нырнул он между ветвями; острые колючки рвали мою одежду, сухие сучья карагача били меня по лицу. Конь мой прыгал через пни, разрывал кусты грудью. Лучше было бы мне его бросить у опушки и скрыться в лесу пешком, да жаль было с ним расстаться. Несколько пуль провизжало над моей головой; я уж слышал, как казаки бежали по следам... Вдруг передо мною рывина глубокая; скакун мой призадумался — и прыгнул. Задние его копыты<sup>1</sup> оборвались с противного берега, и он повис на передних ногах. Я бросил поводья и полетел в овраг; это спасло моего коня: он выскочил. Казаки все это видели, только ни один не спустился меня искать; они верно думали, что я убится до смерти, и я слышал, как они бросились ловить моего коня. Сердце моё облилось кровью; пополз я по густой траве вдоль по оврагу, — смотрю: лес кончился, несколько казаков выезжают из него на поляну, и вот выскакивает прямо к ним мой Карагёз; все кинулись за ним с криком; долго, долго они за ним гонялись, особенно один раза два чуть-чуть не накинул ему на шею аркана; я задрожал, опустил глаза... Через несколько мгновений поднимаю их — и вижу: мой Карагёз летит, развевая хвост, вольный как ветер, а казаки далеко один за другим тянутся по степи на измученных конях. До поздней ночи я сидел в своём овраге. Вдруг, что ж ты думаешь, Азамат? во мраке слышу, бегаёт по берегу оврага конь, фыркает, ржёт и бьёт копытами о землю; я узнал голос моего Карагёза: это был он, мой товарищ!.. С тех пор мы не разлучались.

И слышно было, как он трепал рукою по гладкой шее своего скакуна, давая ему разные нежные названия.

— Если б у меня был табун в тысячу кобыл, — сказал Азамат, — то отдал бы тебе его весь за твоего Карагёза.

— Йок<sup>2</sup>, не хочу, — отвечал равнодушно Казбич.

— Послушай, Казбич, — говорил, ласкаясь к нему, Азамат: — ты добрый человек, ты храбрый джигит, а мой отец боится русских и не пускает меня в горы; отдай мне свою лошадь, и я сделаю всё, что ты хочешь, украду для тебя у отца лучшую его винтовку или шашку, что только пожелаешь, — а шашка его настоящая гурда<sup>3</sup>: приложи лезвием к руке, сама в тело вопьётся; а кольчуга такая, как твоя, нипочём.

Казбич молчал.

— В первый раз, как я увидел твоего коня, — продолжал Азамат: — когда он под тобой крутился и прыгал, раздувая ноздри, и кремни брызгами летели из-под копыт его, в моей душе сделалось что-то непонятное, и с тех пор всё мне опосты-

<sup>1</sup> Копыты — устар. фояма мн. чис. от сущ. копыто.

<sup>2</sup> Йок — нет.

<sup>3</sup> Гурда — старинная шашка, высоко ценившаяся на Кавказе.

лело; на лучших скакунов моего отца смотрел я с презрением, стыдно было мне на них показаться, и тоска овладела мной; и, тоскуя, просиживал я на утёсе целые дни, и ежеминутно мыслям моим являлся вороной скакун твой с своей стройной поступью, с своим гладким, прямым как стрела хребтом; он смотрел мне в глаза своими бойкими глазами, как будто хотел слово вымолвить. Я умру, Казбич, если ты мне не продашь его! — сказал Азамат дрожащим голосом.

Мне послышалось, что он заплакал: а надо вам сказать, что Азамат был преупрямый мальчишка, и ничем, бывало, у него слёз не выбьешь, даже когда он был и помоложе.

В ответ на его слёзы послышалось что-то вроде смеха.

— Послушай! — сказал твёрдым голосом Азамат: — Видишь, я на всё решаюсь. Хочешь, я украду для тебя мою сестру? Как она пляшет! как поёт! а вышивает золотом — чудо! Не бывало такой жены и у турецкого падишаха<sup>1</sup> . . . Хочешь? дождись меня завтра ночью там, в ущелье, где бежит поток: я пойду с нею мимо в соседний аул, — и она твоя. Неужели не стоит Бэла твоего скакуна?

Долго, долго молчал Казбич; наконец, вместо ответа, он затянул старинную песню вполголоса:

Много красавиц в аулах у нас,  
Звёзды сияют во мраке их глаз.  
Сладко любить их, завидная доля:  
Но веселей молодецкая воля.  
Золото купит четыре жены,  
Конь же лихой не имеет цены:  
Он и от вихря в степи не отстанет,  
Он не изменит, он не обманет.<sup>2</sup>

Напрасно упрасивал его Азамат согласиться и плакал, и льстил ему, и клялся; наконец Казбич нетерпеливо прервал его:

— Поди прочь, безумный мальчишка! Где тебе ездить на моём коне? На первых трёх шагах он тебя сбросит, и ты разобьёшь себе затылок об камни.

— Меня! — крикнул Азамат в бешенстве, и железо детского кинжала зазвенело об кольчугу. Сильная рука оттолкнула его прочь, и он ударился об плетень так, что плетень зашатался. «Будет потеха!» — подумал я, кинулся в конюшню, взнуздal лошадей наших и вывел их на задний двор. Через две минуты уж в сакле был ужасный гвалт. Вот что случилось: Азамат вбежал туда в разорванном бешмете, говоря, что Казбич хотел его

<sup>1</sup> Падишах — титул турецкого султана и некоторых других азиатских властителей.

<sup>2</sup> Я прошу прощения читателей в том, что переложил в стихи песню Казбича, переданную мне, разумеется, прозой; но привычка — вторая натура (*Примечание Лермонтова.*)

зарезать. Все выскочили, схватились за ружья — и пошла потеха! Крик, шум, выстрелы; только Казбич уж был верхом и вертелся среди толпы по улице, как бес, отмахиваясь шашкой. «Плохое дело в чужом пиру похмелье, — сказал я Григорью Александровичу, поймав его за руку. — Не лучше ли нам поскорей убраться?»

— Да погодите, чем кончится.

— Да уж верно кончится худо; у этих азиатов всё так: натянулись бузы<sup>1</sup>, и пошла резня! — Мы сели верхом и ускакали домой...

... Штабс-капитан после некоторого молчания продолжал, топнув ногою о землю:

— Никогда себе не прощу одного: чёрт меня дёрнул<sup>2</sup>, приехав в крепость, пересказать Григорью Александровичу всё, что я слышал, сидя за забором; он посмеялся, — такой хитрый! — а сам задумал кое-что.

— А что такое? Расскажите, пожалуйста.

— Ну уж нечего делать! начал рассказывать, так надо продолжать.

Дня через четыре приезжает Азамат в крепость. По обыкновению, он зашёл к Григорью Александровичу, который его всегда кормил лакомствами. Я был тут. Зашёл разговор о лошадях, и Печорин начал расхваливать лошадь Казбича: уж такая-то она резвая, красивая, словно серна, — ну, просто, по его словам, этакой и в целом мире нет.

Засверкали глазёнки у татарчонка, а Печорин будто не замечает; я заговорю о другом, а он, смотришь, тотчас собьёт разговор на лошадь Казбича. Эта история продолжалась всякий раз, как приезжал Азамат. Недели три спустя, стал я замечать, что Азамат бледнеет и сохнет, как бывает от любви в романах-с. Что за диво?..

Вот видите, я уж после узнал всю эту штуку: Григорий Александрович до того его задразнил, что хоть в воду. Раз он ему и скажи: «Вижу, Азамат, что тебе больно понравилась эта лошадь; а не видать тебе её как своего затылка! Ну, скажи, что бы ты дал тому, кто тебе её подарил бы?..

— Всё, что захочет, — отвечал Азамат.

— В таком случае я тебе её достану, только с условием... Поклянись, что ты его исполнишь...

— Клянусь... клянись и ты!

— Хорошо! Клянусь, ты будешь владеть конём; только за него ты должен отдать мне сестру Бэлу.

Азамат молчал.

— Не хочешь? Ну, как хочешь! Я думал, что ты мужчина, а ты ещё ребёнок: рано тебе ездить верхом...

<sup>1</sup> Натянулись бузы — напились пьяными.

<sup>2</sup> Чёрт меня дёрнул — чёрт меня научил.

Азамат вспыхнул. «А мой отец?» — сказал он.

— Разве он никогда не уезжает?

— Правда . . .

— Согласен? . . .

— Согласен, — прошептал Азамат, бледный как смерть.

— Когда же?

— В первый раз, как Казбич придёт сюда; он обещался пригнать десяток баранов; остальное — моё дело. Смотри же, Азамат!

Вот они и сладили это дело . . . по правде сказать, нехорошее дело! Я после и говорил это Печорину, да только он мне отвечал, что дикая черкешенка должна быть счастлива, имея такого милого мужа, как он, потому что по-ихнему он всё-таки её муж, а что Казбич — разбойник, которого надо было наказать. Сами посудите, что ж я мог отвечать против этого? . . . Но в то время я ничего не знал об их заговоре. Вот раз приехал Казбич и спрашивает, не нужно ли баранов и мёда; я велел ему привести на другой день. «Азамат!» сказал Григорий Александрович: «завтра Карагёз в моих руках; если нынче ночью Бэла не будет здесь, то не видать тебе коня . . .»

— Хорошо! — сказал Азамат и поскакал в аул. Вечером Григорий Александрович вооружился и выехал из крепости: как они сладили это дело, не знаю, — только ночью они оба возвратились, и часовой видел, что поперёк седла Азамата лежала женщина, у которой руки и ноги были связаны, а голова окутана чадрой.

— А лошадь? — спросил я у штабс-капитана.

— Сейчас, сейчас. На другой день утром рано приехал Казбич и пригнал десяток баранов на продажу. Привязав лошадь у забора, он вышел ко мне; я попотчевал его чаем, потому что хотя разбойник он, а всё-таки был моим кунаком.

Стали мы болтать о том, о сём . . . Вдруг смотрю, Казбич вздрогнул, переменился в лице — и к окну; но оно, к несчастью, выходило на задворье. — «Что с тобой?» спросил я.

— Моя лошадь! . . . Лошадь! — сказал он, весь дрожа.

Точно, я услышал топот копыт: «это верно какой-нибудь казак приехал . . .»

— Нет! Урус яман, яман! — заревел он и опрометью бросился вон, как дикий барс. В два прыжка он был уж на дворе; у ворот крепости часовой загородил ему путь ружьём; он перескочил через ружьё и кинулся бежать по дороге . . . Вдали виднелась пыль — Азамат сказал на лихом Карагёзе; на бегу Казбич выхватил из чехла ружьё и выстрелил. С минуту он остался неподвижен, пока не убедился, что дал промах; потом завизжал, ударил ружьё о камень, разбил его вдребезги, повалился на землю и зарыдал как ребёнок . . .

## БЭЛА

(Отрывок.)

Вот раз уговаривает меня Печорин ехать с ним на кабана; я долго отнекивался: ну, что мне был за диковинка кабан! Однако ж утащил-таки он меня с собою. — Мы взяли человек пять солдат и уехали рано утром. До десяти часов шныряли по камышам и по лесу, — нет зверя. «Эй, не воротиться ли? — говорил я: — к чему упрямитесь? Уж видно такой задался несчастный день!» Только Григорий Александрович, несмотря на зной и усталость, не хотел воротиться без добычи ... Таков уж был человек: что задумает, подавай; видно в детстве был маменькой избалован ... Наконец в полдень отыскали проклятого кабана: — паф! паф! .. не тут-то было: ушёл в камыши ... такой уж был несчастный день! .. Вот мы, отдохнув маленько, отправились домой.

Мы ехали рядом, молча, распустив поводья, и были уж почти у самой крепости; только кустарник закрывал её от нас. — Вдруг выстрел ... Мы взглянули друг на друга: нас поразило одинаковое подозрение ... Опротетью поскакали мы на выстрел, — смотрим: на валу солдаты собрались в кучку и указывают в поле, а там летит стремглав всадник и держит что-то белое на седле. — Григорий Александрович взвизгнул не хуже любого чеченца; ружьё из чехла — и туда; я за ним.

К счастью, по причине неудачной охоты, наши кони не были измучены: они рвались из-под седла, и с каждым мгновением мы были всё ближе и ближе ... И наконец я узнал Казбича, только не мог разобрать, что такое он держал перед собою. Я тогда поравнялся с Печориным и кричу ему: «Это Казбич!» ... Он посмотрел на меня, кивнул головою и ударил коня плетью.

Вот наконец мы были уж от него на ружейный выстрел; измучена ли была у Казбича лошадь, или хуже наших, только, несмотря на все его старания, она не больно подавалась вперёд. Я думаю, в эту минуту он вспомнил своего Карагёза ...

Смотрю: Печорин на скаку приложился из ружья ... «Не стреляйте! — кричу я ему: — берегите заряд: мы и так его догоним». — Уж эта молодёжь! вечно некстати горячится ... Но выстрел раздался, и пуля перебила заднюю ногу лошади; она сгоряча сделал ещё прыжков десять, споткнулась и упала на колени. Казбич соскочил, и тогда мы увидели, что он держал на руках своих женщину, окутанную чадрую... Это была Бэла... бедная Бэла! — Он что-то нам закричал по-своему и занёс над нею кинжал ... Медлить было нечего: Я выстрелил в свою очередь, наудачу; верно пуля попала ему в плечо, потому что вдруг он опустил руку ...

Когда дым рассеялся, на земле лежала раненая лешадь, и возле неё Бэла; а Казбич, бросив ружьё, по кустарникам, точно

кошка, карабкался на утёс; хотелось мне его снять оттуда — да не было заряда готового! Мы соскочили с лошадей и кинулись к Бэле. Бедняжка, она лежала неподвижно, и кровь лилась из раны ручьями . . . Такой злодей: хоть бы в сердце ударил — ну, так уж и быть, одним разом всё бы кончил, а то в спину . . . самый разбойничий удар! — Она была без памяти. Мы изорвали чадру и перевязали рану как можно туже.

Печорин сел верхом; я поднял её с земли и кое-как посадил к нему на седло; он обхватил её рукой, и мы поехали назад. После нескольких минут молчания Григорий Александрович сказал мне: «Послушайте, Максим Максимыч, мы этак её не доведём живую». — «Правда», — сказал я, и мы пустили лошадей во весь дух. — Нас у ворот крепости ожидала толпа народа; осторожно перенесли мы раненую к Печорину и послали за лекарем. Он был хотя пьян, но пришёл; осмотрел рану и объявил, что она больше дня жить не может; только он ошибся . . .

— Выздоровела? — спросил я у штабс-капитана, схватив его за руку и невольно обрадовавшись.

— Нет, отвечал он: — а ошибся лекарь тем, что она ещё два дня прожила.

— Да объясните мне, каким образом её похитил Казбич?

— А вот как: несмотря на запрещение Печорина, она вышла из крепости к речке. Было, знаете, очень жарко; она села на камень и опустила ноги в воду. Вот Казбич подкрался, — цап-царап её, зажал рот и потащил в кусты, а там вскочил на коня, да и тягу! Она между тем успела закричать; часовые всполошились, выстрелили, да мимо, а мы тут и подоспели.

— Да зачем Казбич её хотел увезти?

— Помилуйте! да эти черкесы известный воровской народ; что плохо лежит, не могут не стянуть<sup>1</sup>: другое и ненужно, а всё украдёт . . . уж в этом прошу их извинить! Да притом она ему давно-таки нравилась.

— И Бэла умерла?

— Умерла; только долго мучилась.

. . . — А что Печорин? — спросил я.

— Печорин был долго нездоров, исхудал, бедняжка; только никогда с этих пор мы не говорили о Бэле: я видел, что это ему будет неприятно, так зачем же? — Месяца три спустя его назначили в е . . . й полк, и он уехал в Грузию. Мы с тех пор не встречались . . .

---

<sup>1</sup> Стянуть (разг.) — украсть, потихоньку взять.

# Н. В. ГОГОЛЬ

(1809—1852)

## О ПОВЕСТИ «ТАРАС БУЛЬБА».

Занятия историей увлекали Гоголя. У него появилось желание написать историю Украины. Это желание его осталось невыполненным. Но в результате изучения истории Украины Гоголь создал повесть «Тарас Бульба». Он знал и любил старинные украинские песни — «думы», которые помогли ему дать яркое народное изображение вольной Запорожской Сечи и её героев. Повесть «Тарас Бульба» вошла в сборник «Миргород».

### Краткое содержание повести «Тарас Бульба».

В повести «Тарас Бульба» Гоголь описывает героическую борьбу украинского казачества за свободу родной земли.

Тарас Бульба — старый казачий полковник. Всю свою жизнь он провёл в боях за родину. Его сыновья — Остап и Андрий приезжают домой из Киева после окончания бурсы. Отец решает сразу же ехать с ними в Запорожскую Сечь. Бедная мать в большом горе, но она не смеет спорить с мужем. Всю ночь просидела она около спящих сыновей. Запорожская Сечь в те годы принимала всех, кому была дорога родная Украина. Молодёжь училась тут военному делу.

Бульба с сыновьями приезжает в Сечь, и скоро они идут в поход против польских панов, которые нападали на украинские земли. Запорожцы осаждают город Дубно, и начинаются тяжёлые бои. Сыновья Тараса смело и уверенно сражаются.

Со стен крепости Андрия увидела молодая польская панна. Раньше они встречались в Киеве. Она посылает свою служанку к Андрию. Служанка тайным ходом пробирается к запорожцам в лагерь. Она просит у Андрея хлеба для своей госпожи. Андрий, взяв мешок с хлебом, ушёл к полякам и стал изменником. В бою Тарас Бульба увидел Андрия, который был на стороне поляков против своего народа.

Отец сам убил изменника-сына.

Старший сын Тараса Остап попал в плен. Сам Тарас в это же время был тяжело ранен и друзья едва спасли его.

Тарас всюду искал сына. Он пробрался в Варшаву, но освободить Остапа не мог. Он был в толпе народа, когда казнили Остапа. Молодой казак мужественно переносил все пытки. А бедный отец, стоя в толпе врагов и видя, как мучают сына, тихо повторял: «Добре, сынку! Добре!»

После казни Остапа Тарас мстил за муки сына. Много он сжёг польских замков и местечек. Польские паны не могли поймать старого Тараса. Однажды Тарас, отступая, не захотел оставить врагам свою трубку и вернулся за ней. Его схватили. Враги сожгли Тараса. Охваченный огнём, Тарас Бульба думал только о том, чтобы успели спастись его товарищи.

## ТАРАС БУЛЬБА

(I отрывок)

Тарас был один из числа коренных, старых полководцев: весь был создан для бранной<sup>1</sup> тревоги и отличался грубой прямою своего нрава<sup>2</sup>.

... Теперь он тешил себя заранее мыслью, как он явится с двумя сыновьями своими на Сечь и скажет: «Вот посмотрите, каких я молодцов привёл к вам!»; как представит их всем старым, закалённым в битвах, товарищам; как поглядит на первые подвиги их в ратной<sup>3</sup> науке и бражничестве, которое почитал тоже одним из главных достоинств рыцаря. Он сначала хотел было отправить их одних. Но при виде их свежести, рослости, могучей телесной красоты вспыхнул воинский дух его, и он на другой же день решился ехать с ними сам, хотя необходимостью этого была одна упрямая воля. Он уже хлопотал и отдавал приказы, выбирал коней и сбрую для молодых сыновей, наведывался и в конюшни и в амбары, отобрал слуг, которые должны были завтра с ними ехать ... Даже отдал приказ напоить коней и всыпать им в ясли крупной и лучшей пшеницы и пришёл усталый от своих забот.

«Ну, дети, теперь надобно спать, а завтра будем делать то, что бог даст. Да не стели нам постель! Нам не нужна постель! Мы будем спать на дворе».

Ночь ещё только что обняла небо<sup>4</sup>, но Бульба всегда ложился рано. Он развалился на ковре, накрылся бараньим тулупом, потому что ночной воздух был довольно свеж и потому что Бульба любил укрыться потеплее, когда был дома. Он вскоре захрапел, и за ним последовал весь двор.

<sup>1</sup> Бранный — военный.

<sup>2</sup> Нрав — характер.

<sup>3</sup> Ратный — военный.

<sup>4</sup> Ночь обняла небо — наступила ночь.

... Одна бедная мать не спала. Она приникла к изголовью дорогих сыновей своих, лежавших рядом; она расчёсывала гребнем их молодые, небрежно всклоченные кудри и смачивала их слезами; она глядела на них вся, глядела всеми чувствами, вся препратилась в одно зрение и не могла наглядеться. Она вскормила их собственной грудью, она возрастила, взлелеяла их — и только на один миг видит их перед собою. «Сыны мои, сыны мои милые! что будет с вами? что ждёт вас?» — говорила она, и слёзы остановились в морщинах, изменивших её когда-то прекрасное лицо. В самом деле она была жалка, как всякая женщина того удалого века . . . Она видела мужа в год два-три дня, и потом несколько лет о нем не бывало слуха. Да и когда виделась с ним, когда они жили вместе, что за жизнь её была? Она терпела оскорбления, даже побои; она видела из милости только оказываемые ласки, она была какое-то странное существо в этом сборище безжённых рыцарей, на которых разгульное Запорожье набрасывало суровый колорит свой . . . Вся любовь, все чувства, всё, что есть нежного и страстного в женщине, всё обратилось у ней в одно материнское чувство. Она с жаром, с страстью, с слезами, как степная чайка, вилась над детьми своими. Её сыновей, её милых сыновей берут от неё, берут для того, чтобы не увидеть их никогда! Кто знает, может быть при первой битве татарин срубит им головы, и она не будет знать, где лежат брошенные тела их, которые расклюёт хищная подорожная птица, а за каждый кусочек которых, за каждую каплю крови она отдала бы всё . . .

Месяц с вышины неба давно уже озарял весь двор, наполненный спящими, густую кучу верб и высокий бурьян, в котором потонул частокол, окружавший двор. Она всё сидела в головах милых сыновей своих, ни на минуту не сводила с них глаз своих и не думала о сне. Уже кони, чуя рассвет, все полегли на траву и перестали есть; верхние листья верб начали лепетать, и мало-помалу лепечущая струя спустилась по ним до самого низу. Она просидела до самого света, вовсе не была утомлена и внутренно желала, чтобы ночь протянулась как можно дольше. Со степи понеслось звонкое ржание жеребёнка; красные полосы ясно сверкнули на небе. Бульба вдруг проснулся и вскочил. Он очень хорошо помнил всё, что приказывал вчера.

«Ну, хлопцы, полно спать! Пора! пора! Напойте коней! А где стара?»<sup>1</sup> (так он обыкновенно называл жену свою). «Живее, стара, готовь нам есть: путь лежит великий!»

Бедная старушка, лишённая последней надежды, уныло поплелась в хату. Между тем как она со слезами готовила всё, что нужно к завтраку, Бульба раздавал свои приказания, возился на конюшне и сам выбирал для детей лучшие убранства. Бурсаки вдруг преобразились: на них явились, вместо прежних за-

<sup>1</sup> Стара — старуха.

пачканых сапогов<sup>1</sup>, сафьянные красные, с серебряными подковами; шаровары, шириною в Чёрное море<sup>2</sup>, с тысячею складок и со сборами, перетянулись золотым очкуром; к очкуру прицеплены были длинные ремешки, с кистями и прочими побрякушками, для трубки. Казакин алого цвета, сукна яркого, как огонь, опоясался узорчатым поясом; чеканные турецкие пистолеты были задвинуты за пояс; сабля брякала по ногам их. Их лица, ещё мало загоревшие, казалось, похорошели и побелели; молодые чёрные усы теперь как-то ярче оттеняли белизну их и здоровый, мощный цвет юности; они были хороши под чёрными бараньими шапками с золотым верхом. Бедная мать! Она как увидела их, она и слова не могла промолвить, и слёзы остановились в глазах её.

«Ну, сыны<sup>3</sup>, всё готово! нечего мешкать!» — произнёс, наконец, Бульба. «Теперь, по обычаю христианскому, нужно перед дорогою всем присесть».

Все сели, не выключая даже и хлопцев<sup>4</sup>, стоявших почтительно у дверей.

«Теперь благослови, мать, детей своих!» — сказал Бульба: «моли бога, чтобы они воевали храбро, защищали бы всегда честь лыцарскую<sup>5</sup>, чтобы стояли всегда за веру Христову, а не то — пусть лучше пропадут, чтобы и духу их не было на свете! Подойдите, дети, к матери: молитва материнская и на воде и на земле спасает». Мать, слабая как мать, обняла их, вынула две небольшие иконы, надела им, рыдая, на шею. «Пусть хранит вас ... божья мать ... Не забывайте, сынки, мать вашу ... пришлите хоть весточку о себе ...» Далее она не могла говорить.

«Ну, пойдём, дети!» — сказал Бульба. У крыльца стояли осёдланные кони. Бульба вскочил на своего Чорта, который бешено отшатнулся, почувствовал на себе двадцатипудовое бремя, потому что Бульба был чрезвычайно тяжёл и толст. Когда увидела мать, что уже и сыны её сели на коней, она кинулась к меньшому, у которого в чертах лица выражалось более какой-то нежности; она схватила его за стремя, она прилипнула к седлу его и с отчаяньем в глазах не выпускала его из рук своих. Два дюжих козака взяли её бережно и унесли в хату. Но, когда выехали они за ворота, она со всею лёгкостью дикой козы, несообразной её летам, выбежала за ворота, с непостижимою силою остановила лошадь и обняла одного из них с какою-то помешанною, бесчувственною горячностью; её опять увели. Молодые казаки ехали смутно и удерживали слёзы, боясь отца своего, который, с своей стороны, тоже был несколько смущён, хотя

<sup>1</sup> Сапогов (устар.) — сапог.

<sup>2</sup> Шириною в Чёрное море — очень широкое.

<sup>3</sup> Сыны — сыновья.

<sup>4</sup> Хлопец (укр.) = мальчик.

<sup>5</sup> Лыцарскую (неправ.) — рыцарскую.

не старался этого показывать. День был серый; зелень сверкала ярко; птицы щебетали как-то в разлад. Они, проехавши, оглянулись назад: хутор их как будто ушёл в землю; только видны были над землёй две трубы скромного домика да вершины деревьев, по сучьям которых они лазили, как белки . . . Вот уже один только шест над колодцем с привязанным вверху колесом от телеги одиноко торчит в небе; уже равнина, которую они проехали, кажется издали горою и всё собою закрывала. — Прощайте и детство, и игры, и всё и всё!

## (II отрывок)

Отворились ворота, и вылетел оттуда гусарский полк, краса всех конных полков. Впереди других понёсся витязь всех бойчее, всех красивее. Так и летели чёрные волосы из-под медной его шапки; вился завязанный на руке дорогой шарф, шитый руками первой красавицы. Так и оторопел Тарас, когда увидел, что это был Андрий . . .

Остановился старый Тарас и глядел на то, как он чистил перед собою дорогу, разгонял, рубил и сыпал удары направо и налево. Не вытерпел Тарас и закричал: «Как? .. Своих? .. Своих чортов сын, своих бьёшь?» Но Андрий не различал, кто перед ним был, свои или другие какие; ничего не видел он . . .

«Эй, хлѡпьята! Заманите мне только его к лесу, заманите мне только его!» — кричал Тарас. И вызвалось тот же час тридцать быстрейших казаков заманить его. И, поправив на себе высокие шапки, тут же пустились на конях прямо наперез гусарам. Ударили сбоку на передних, сбили их, отделили от задних . . . и в тот же час пустились бежать от них, сколько достало козацкой мочи. Как вскинулся Андрий! Как забунтовала по всем жилкам молодая кровь! Ударив острыми шпорами коня, во весь дух полетел он за козаками, не глядя назад, не видя, что позади всего только двадцать человек успело поспевать за ним. А козаки летели во всю прыть на конях и прямо поворотили к лесу. Разогнался на коне Андрий, как вдруг чья-то сильная рука ухватила за повод его коня. Оглянулся Андрий: перед ним Тарас! Затрясся он всем телом и вдруг стал бледен . . .

В один миг пропал, как бы не бывал вовсе, гнев Андрия. И видел он перед собою одного только страшного отца.

— Ну, что же теперь мы будем делать? — сказал Тарас, смотря прямо ему в очи. Но ничего не знал на то сказать Андрий и стоял, утупивши в землю очи.

— Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?

Андрий был безответен.

— Так продать? продать веру? продать своих? Стой же, слезай с коня!

Покорно, как ребёнок, слез он с коня и остановился ни жив ни мёртв перед Тарасом.

— Стой и не шевелись! Я тебя породил, я тебя и убью! — сказал Тарас и, отступивши шаг назад, снял с плеча ружьё. Бледен как полотно был Андрий; видно было, как тихо шевелились уста его и как он произносил чьё-то имя; но это не было имя отчизны, или матери, или братьев — это было имя прекрасной полячки. Тарас выстрелил.

Как хлебный колос, подрезанный серпом, как молодой барашек, почуявший под сердцем смертельное железо, повис он головой и повалился на траву, не сказавши ни одного слова.

Остановился сыноубийца и глядел долго на бездыханный труп. Он был и мёртвый прекрасен: мужественное лицо его, недавно исполненное силы, всё ещё выражало чудную красоту; чёрные брови, как траурный бархат, оттеняли его побледневшие черты.

— Чем бы не козак был? — сказал Тарас. — И станом высокий, и чернобровый, и лицо, как у дворянина, и рука была крепка в бою! пропал, пропал бесславно, как подлая собака!»

— Батько, что ты сделал? Это ты убил его! — сказал подъехавший в это время Остап.

Тарас кивнул головою.

### (III отрывок)

... Площадь, на которой долженствовала производиться казнь, нетрудно было отыскать: народ валил туда со всех сторон ...

Они шли с открытыми головами, с длинными чубами; бороды у них были отпущены. Они шли не боязливо, не угрюмо, но с какою-то тихою горделивостью; их платья из дорогого сукна изнасились и болтались на них ветхими лоскутьями; они не глядели и не кланялись народу. Впереди всех шёл Остап.

Что почувствовал старый Тарас, когда увидел своего Остапа? Что было тогда в его сердце? Он глядел на него из толпы и не проронил ни одного движения его. Они приблизились уже к лобному месту. Остап остановился. Ему первому приходилось выпить эту тяжёлую чашу. Он глянул на своих, поднял руку вверх и произнёс громко: «Дай же боже, чтобы все, какие тут ни стоят еретики, не услышали, нечестивые, как мучится христианин! чтобы ни один из нас не промолвил ни одного слова!» После этого приблизился к эшафоту.

«Добре, сынку, добре!» — сказал тихо Бульба и уставил в землю свою седую голову.

Палач сдёрнул с него ветхие лохмотья; ему увязали руки и ноги в нарочно сделанные станки, и ... Не будем смущать чита-

телей картиною адских мук, от которых дыбом поднялись бы их волосы. Они были порождение тогдашнего грубого, свирепого века, когда человек вёл ещё кровавую жизнь одних воинских подвигов и закалился в ней душою, не чуя человечества . . . Остап выносил терзания и пытки, как исполин. Ни крика, ни стону не было слышно даже тогда, когда стали перебивать ему на руках и ногах кости, когда ужасный хряск их послышался среди мёртвой толпы отдалёнными зрителями, когда панянки<sup>1</sup> отворотили глаза свои, — ничто, похуже на стон, не вырвалось из уст<sup>2</sup> его, не дрогнуло лицо его. Тарас стоял в толпе, потупив голову и в то же время гордо приподняв очи<sup>3</sup>, и одобрительно только говорил: «Добре, сынку, добре!»

Но когда подвели его к последним смертным мукам, казалось, как будто стала подаваться его сила<sup>4</sup>. И повел он очами вокруг себя<sup>5</sup>: боже, всё неведомые, всё чужие лица! Хоть бы кто-нибудь из близких присутствовал при его смерти! Он не хотел бы слышать рыданий и сокрушения слабой матери или безумных воплей супруги; хотел бы он теперь увидеть твёрдого мужа<sup>6</sup>, который бы разумным словом освежил его и утешил при кончине. И упал он силою<sup>7</sup> и воскликнул в душевной немощи: «Батько! где ты? Слышишь ли ты?»

«Слышу!» — раздалось среди всеобщей тишины, и весь миллион народа в одно время вздрогнул. Часть военных всадников бросилась заботливо рассматривать толпы народа . . . но Тараса уже не было: его и след простыл<sup>8</sup>.

. . . А что ж Тарас? А Тарас гулял по всей Польше с своим полком, выжег восемнадцать местечек, близ сорока костёлов и уже доходили до Кракова. Много избил он всякой шляхты, разграбил богатейшие и лучшие замки; распечатили и поразливали по земле козаки вековые мёды и вина, сохранно сберегавшиеся в панских погребах; изрубили и пережгли дорогие сукна, одежды и утвари, находимые в кладовых. «Ничего не жалейте!» — повторял только Тарас . . . «Это вам, вражьи ляхи<sup>9</sup>, поминки по Остапе!» — приговаривал только Тарас. И такие поминки по Остапе отправлял он в каждом селении, пока польское правительство не увидело, что поступки Тараса были побольше, чем обыкновенное разбойничество, и Потоцкому поручено было с пятью полками поймать непременно Тараса.

<sup>1</sup> Понянки — девушки (на польск. языке).

<sup>2</sup> Из уст — с губ.

<sup>3</sup> Очи — глаза.

<sup>4</sup> Стала подаваться сила — стал слабеть.

<sup>5</sup> Повёл очами вокруг себя — посмотрел вокруг себя.

<sup>6</sup> Муж — мужчина.

<sup>7</sup> Упал силою — ослабел.

<sup>8</sup> След простыл — исчез, не оставив следа.

<sup>9</sup> Ляхи (устар.) — поляки.

Шесть дней уходили козаки просёлочными дорогами от всех преследований; едва выносили кони необыкновенное бегство и спасали козаков. Но Потоцкий на сей раз был достоин возложенного поручения: неумоимо преследовал он их и настиг на берегу Днестра, где Бульба занял для роздыха<sup>1</sup> оставленную развалившуюся крепость.

Над самой кручей Днестра-реки виднелась она своим оборванным валом и своими развалившимися останками стен. Щебнем и разбитым кирпичом усеяна была верхушка утёса, готовая всякую минуту сорваться и слететь вниз. Тут-то, с двух сторон, прилеглих к полю<sup>2</sup>, обступил его коронный гетьман<sup>3</sup> Потоцкий. Четыре дня бились и боролись козаки, отбиваясь кирпичами и камнями<sup>4</sup>. Но истощились запасы и силы, и решился Тарас пробиться сквозь ряды. И пробиться было уже козаки и, может быть, ещё раз послужили бы им верно быстрые кони, как вдруг среди самого бегу остановился Тарас и вскрикнул: «Сстой! выпала люлька<sup>5</sup> с табаком; не хочу, чтобы и люлька досталась вражьим ляхам!» И нагнулся старый атаман и стал отыскивать в траве свою люльку с табаком, неотлучную сопутницу<sup>6</sup> на морях и на суше, и в походах и дома. А тем временем набежала вдруг ватага и схватила его под могучие плечи. Двинулся было он всеми членами, но уже не посыпались на землю, как бывало прежде, схватившие его гайдуки. «Эх старость, старость!» — сказал он, и заплакал дебелий<sup>7</sup> старый козак. Но не старость была виною: сила одолела силу. Мало не тридцать человек повисло у него по рукам и по ногам. «Попалась ворона!» — кричали ляхи: «Теперь нужно только придумать, какую бы ему, собаке, лучшую честь воздать». И присудили, с гетьманского разрешения, сжечь его живого в виду всех. Тут же стояло нагое дерево, вершину которого разбило громом. Притянули его железными цепями к древенному стволу, гвоздем прибили ему руки и, приподняв его повыше, чтобы отовсюду был виден казак, принялись тут же раскладывать под деревом костёр. Но не на костёр глядел Тарас, не об огне он думал, которым собирались жечь его; глядел он, сердечный, в ту сторону, где отстреливались козаки: ему с высоты всё было видно как на ладони. «Занимайте, хлопцы, занимайте скорее», — кричал он, — «горку, что за лесом: туда не подступят они!» Но ветер не донёс его слов. «Вот пропадут, пропадут ни за что!» — говорил он отчаянно и взглянул вниз, где сверкал Днестр. Радость блеснула в очах его. Он увидел выдвинувшиеся из-за кустарника четыре

<sup>1</sup> Для роздыха — для отдыха.

<sup>2</sup> Прилеглих к полю — прилегающих к полю.

<sup>3</sup> Гетьман (непрев.) — гетман.

<sup>4</sup> Камнями — камнями.

<sup>5</sup> Люлька — трубка.

<sup>6</sup> Сопутница — спутница.

<sup>7</sup> Дебелий — крепкий, плотный.

кормы, собрал всю силу голоса и зычно закричал: «К берегу! к берегу, хлопцы! Спускайтесь подгорной дорожкой, что налево. У берега стоят чёлны, всё забирайте, чтобы не было погони!» На этот раз ветер дунул с другой стороны, и все слова были услышаны козаками. Но за такой совет достался ему тут же удар обухом по голове . . .

Когда очнулся Тарас Бульба от удара и глянул на Днестр, уже козаки были на чёлнах и гребли вёслами . . .

«Прощайте, товарищи!» — кричал он им сверху. — «Вспомните меня и будущей же весной прибывайте сюда вновь, да хорошенько погуляйте!» . . .

## РЕВИЗОР

Действие V

Явление VIII

Те же и почтмейстер (впопыхах, с распечатанным письмом в руке).

ПОЧТМЕЙСТЕР. Удивительное дело, господа! Чиновник, которого мы приняли за ревизора, был не ревизор.

ВСЕ. Как не ревизор?

ПОЧТМЕЙСТЕР. Совсем не ревизор, — я узнал это из письма . . .

ГОРОДНИЧИЙ. Что вы? что вы? из какого письма?

ПОЧТМЕЙСТЕР. Да из собственного его письма. Приносят ко мне на почту письмо. Взглянул на адрес — вижу: «В Почтамскую улицу». Я так и обомлел. «Ну, — думаю себе, — верно нашёл беспорядки по почтовой части и уведомляет начальство». — Взял да и распечатал.

ГОРОДНИЧИЙ. Как же вы?

ПОЧТМЕЙСТЕР. Сам не знаю, неестественная сила побудила. Призвал было курьера, с тем чтобы отправить его с эшпафетой, — но любопытство такое одолело, какого ещё никогда не чувствовал. Не могу, не могу, слышу, что не могу, тянет, так вот и тянет! В одном ухе так вот и слышу: «эй, не распечатывай! пропадёшь, как курица»; а в другом словно бес какой шепчет: «распечатай, распечатай, распечатай!» И как придавил сургуч — по жилам огонь, а распечатал — мороз, ей-богу мороз. И руки дрожат, и всё помутилось.

ГОРОДНИЧИЙ. Да как же вы осмелились распечатать письмо такой уполномоченной особы?

ПОЧТМЕЙСТЕР. В том-то и шутка, что он не уполномоченный и не особа!

ГОРОДНИЧИЙ. Что ж, он по-вашему, такое?

ПОЧТМЕЙСТЕР. Ни сё ни то, чорт знает что такое!

ГОРОДНИЧИЙ (запальчиво). Как ни сё ни то? Как вы смеете называть его ни тем ни сем да ещё чорт знает чем? Я вас под арест...

ПОЧТМЕЙСТЕР. Кто? вы?

ГОРОДНИЧИЙ. Да, я!

ПОЧТМЕЙСТЕР. Коротки руки.

ГОРОДНИЧИЙ. Знаете ли, что он женится на моей дочери, что я сам буду вельможа, что я в самую Сибирь законопачу?

ПОЧТМЕЙСТЕР. Эх, Антон Антонович! что Сибирь? далеко Сибирь. Вот лучше я вам прочту. Господа! позвольте прочитать письмо?

ВСЕ. Читайте, читайте.

ПОЧТМЕЙСТЕР (читает). «Спешу уведомить тебя, душа Тряпичкин, какие со мной чудеса. На дороге обчистил меня кругом пехотный капитан. Так что трактирщик хотел уже было посадить в тюрьму; как вдруг, по моей петербургской физиономии и по костюму, весь город принял меня за генерал-губернатора. И я теперь живу у городничего, жуирую, волочусь направо, лажу за его женой и дочкой; не решился только, с которой начать...

Помнишь, как мы с тобой бедствовали; теперь совсем другой оборот. Все мне дают займы сколько угодно. Оригиналы страшные. От смеху ты бы умер. Ты, я знаю, пишешь статейки, помести их в свою литературу. Во-первых: городничий — глуп, как сивый мерин...»

ГОРОДНИЧИЙ. Не может быть! там нет этого.

ПОЧТМЕЙСТЕР (показывает письмо). Читайте сами!

ГОРОДНИЧИЙ (читает). «Как сивый мерин». Не может быть, вы это сами написали.

ПОЧТМЕЙСТЕР. Как же бы я стал писать?

АРТЕМИЙ ФИЛИППОВИЧ. Читайте!

ЛУКА ЛУКИЧ. Читайте!

ПОЧТМЕЙСТЕР (продолжая читать). «Городничий глуп, как сивый мерин...»

ГОРОДНИЧИЙ. О, чорт возьми! нужно ещё повторять! как будто оно там и без того не стоит.

ПОЧТМЕЙСТЕР (продолжает читать). Хм... хм... хм... хм... «сивый мерин. Почтмейстер тоже добрый человек...» (Оставляя читать). Ну, тут обо мне тоже он неприлично выразился.

ГОРОДНИЧИЙ. Нет, читайте!

ПОЧТМЕЙСТЕР. Да к чему ж?..

ГОРОДНИЧИЙ. Нет, чорт возьми, когда уж читать так читать! Читайте всё!

АРТЕМИЙ ФИЛИППОВИЧ. Позвольте, я прочитаю. (Надевает очки и читает.) «Почтмейстер точь в точь департаментский сторож Михеев; должно быть, также, подлец, пьёт горькую»

ПОЧТМЕЙСТЕР (к зрителям). Ну, скверный мальчишка, которого надо высечь; больше ничего!

АРТЕМИЙ ФИЛИППОВИЧ (продолжает читать). «Надзиратель над благоугодным заведе... и... и... и...» (заккается):

КОРОБКИН. А что же вы остановились?

АРТЕМИЙ ФИЛИППОВИЧ. Да нечёткое перо... впрочем, видно, что негодяй.

КОРОБКИН. Дайте мне! вот у меня, я думаю, получше глаза. (Берёт письмо.)

АРТЕМИЙ ФИЛИППОВИЧ (не давая письма). Нет, это место можно пропустить, а там дальше разборчиво.

КОРОБКИН. Да позвольте, уж я знаю.

АРТЕМИЙ ФИЛИППОВИЧ. Прочитать я и сам прочитаю; далее, право, всё разборчиво.

ПОЧТМЕЙСТЕР. Нет, всё читайте! ведь прежде всё читано.

ВСЕ. Отдайте, Артемий Филиппович! отдайте письмо (Коробкину.) Читайте.

АРТЕМИЙ ФИЛИППОВИЧ. Сейчас (Отдаёт письмо.) Вот позвольте (закрывает пальцем). Вот отсюда читайте. (Все приступают к нему.)

ПОЧТМЕЙСТЕР. Читайте! Читайте! вздор, всё читайте...

КОРОБКИН (читает). «Надзиратель за благоугодным заведением Земляника — совершенная свинья в ермолке».

АРТЕМИЙ ФИЛИППОВИЧ (к зрителям). И не остроумно! свинья в ермолке! где ж свинья бывает в ермолке?

КОРОБКИН (продолжая читать). «Смотритель училищ протухнул насквозь луком».

ЛУКА ЛУКИЧ (к зрителям). Ей-богу, и в рот никогда не брал луку.

АММОС ФЕДОРОВИЧ (в сторону). Слава богу, хоть по крайней мере обо мне нет.

КОРОБКИН (читает). Судья...

АММОС ФЕДОРОВИЧ. Вот тебе на! (Вслух.) Господа, я думаю, что письмо длинно. Да и чорт ли в нём: дрянь этакую читать.

ЛУКА ЛУКИЧ. Нет!

ПОЧТМЕЙСТЕР. Нет, читайте.

АРТЕМИЙ ФИЛИППОВИЧ. Нет уж, читайте!

КОРОБКИН (продолжает). «Судья Ляпкин-Тяпкин в сильнейшей степени мове тон...» (останавливается) должно быть французское слово.

АММОС ФЕДОРОВИЧ. А, чорт его знает, что оно значит! Ещё хорошо, если только мошенник, а может быть и того ещё хуже.

КОРОБКИН (продолжает читать). «А впрочем, народ гостеприимный и добродушный. Прощай, душа Тряпичкин. Я сам, по примеру твоему, хочу заняться литературой, вижу: точно

нужно чем-нибудь высоким заняться. Скучно, брат, так жить: хочешь, наконец, пищи для души. Пиши ко мне в Саратовскую губернию, а оттуда в деревню Подкатиловку. (Переворачивает письмо и читает адрес.) Его благородию, милостивому государю, Ивану Васильевичу Тряпичкину, в С.-Петербург, в Почтамтскую улицу, в доме под № 97, поворота на двор в 3 этаже, направо».

ОДНА ИЗ ДАМ. Какой реприманд неожиданный.

ГОРОДНИЧИЙ. Вот когда зарезал, так зарезал! Убит, убит, совсем убит! Ничго не вижу. Вижу какие-то свиные рылы, вместо лиц, а больше ничего... Воротить, воротить его! (Машет рукою.)

ПОЧТМЕЙСТЕР. Куда воротить! Я, как нарочно, приказал смотрителю дать самую лучшую тройку; чорт угораздило дать и вперед предписание.

ЖЕНА КОРОБКИНА. Вот уж точно, вот беспримерная конфузия!

АММОС ФЕДОРОВИЧ. Однако ж, чорт возьми, господа! Он у меня взял триста рублей взаймы.

АРТЕМИЙ ФЕДОРОВИЧ. У меня тоже триста рублей.

ПОЧТМЕЙСТЕР (вздыхает). Ох! и у меня триста рублей.

БОБЧИНСКИЙ. У нас с Петром Ивановичем шестьдесят пять-с на ассигнации-с, да-с.

АММОС ФЕДОРОВИЧ (в недоумении расставляет руки). Как же это, господа? как это, в самом деле, мы так оплошали!

ГОРОДНИЧИЙ (бьёт себя по лбу). Как я? нет, как я, старый дурак! выжил, глупый баран, из ума!.. Тридцать лет живу на службе; ни один купец, ни подрядчик не мог провести; мошенников над мошенниками обманывал, пройдох и плутов таких, что весь свет готовы обворовать, поддевал на уду. Трёх губернаторов обманул!.. что губернаторов! (махнув рукою) нечего и говорить про губернаторов...

АННА АНДРЕЕВНА. Но это не может быть, Антоша: он обручился с Машенькой...

ГОРОДНИЧИЙ (в сердцах). Обручился! Кукиш с маслом — вот тебе обручился! Лезет мне в глаза с обрученьем!.. (В испуге). Вот смотрите, смотрите, весь мир, всё христианство, все смотрите, как одурачен городничий! Дурака ему, дурака, старому подлецу! (Грозит самому себе кулаком). Эх ты, толстоносый! Сосульку, тряпку принял за важного человека! Вон он теперь по всей дороге заливает колокольчиком! Разнесёт по всему свету историю, мало того, что пойдёшь в посмешище... Найдётся шелкопёр, бумагомарака, в комедию тебя вставит. Вот что обидно! чина, звания не пощадит, и будут скалить зубы и бить в ладоши. Чему смеётесь? — над собою смеётесь!.. (Стучит со злости ногами об пол). Я бы всех этих бумагомарак! у! шелкопёры, либералы проклятые! чортово семя! Узлом бы вас

всех завязал, в муку бы стёр вас всех да чорту в подкладку! в шапку туды ему! . . (Суёт кулаком и бьёт каблуком в пол. После некоторого молчания.). До сих пор не могу придти в себя. Вот, подлинно, если бог хочет наказать, так отнимет прежде разум. Ну что было в этом вертопрахе похожего на ревизора? Ничего не было. Вот просто ни на полмизинца не было похожего — и вдруг все: ревизор, ревизор! Ну, кто первый выпустил, что он ревизор? Отвечайте!

АРТЕМИЙ ФИЛИППОВИЧ (расставив руки). Уж как это случилось, хоть убей, не могу объяснить, точно туман какой-то ошеломил, чорт попутал.

АММОС ФЕДОРОВИЧ. Да кто выпустил, — вот кто выпустил: эти молодцы! (Показывает на Добчинского и Бобчинского).

БОБЧИНСКИЙ. Ей-ей, не я! и не думал. . .

ДОБЧИНСКИЙ. Я ничего, совсем ничего. . .

АРТЕМИЙ ФИЛИППОВИЧ. Конечно вы!

ЛУКА ЛУКИЧ. Разумеется. Прибежали, как сумасшедшие, из трактира: «Приехал, приехал и денег не плотит. . .» Нашли важную птицу!

ГОРОДНИЧИЙ. Натурально вы! сплетники городские, лгуны проклятые!

АРТЕМИЙ ФИЛИППОВИЧ. Чтоб вас чорт побрал с вашим ревизором и рассказами!

ГОРОДНИЧИЙ. Только рыскаете по городу да смущаете всех, трешотки проклятые, сплетни сеете, сороки короткохвостые!

АММОС ФЕДОРОВИЧ. Пачкуны проклятые!

ЛУКА ЛУКИЧ. Колпаки!

АРТЕМИЙ ФИЛИППОВИЧ. Сморчки короткобрюхие! (Все обступают их.)

БОБЧИНСКИЙ. Ей-богу, это не я, это Пётр Иванович.

ДОБЧИНСКИЙ. Э, нет, Пётр Иванович, вы ведь первые того. . .

БОБЧИНСКИЙ. А вот и нет, первые-то были вы.

Явление последнее

Те же и жандарм.

ЖАНДАРМ. Приехавший по именному повелению из Петербурга чиновник требует вас сей же час к себе. Он остановился в гостинице.

(Произнесённые слова поражают, как громом, всех. Звук изумления единодушно излетает из дамских уст, вся группа, вдруг переменявши положение, остаётся в окаменении.)

# И. С. ТУРГЕНЕВ

(1818—1883)

## ЗАПИСКИ ОХОТНИКА

ЛЬГОВ.

... Мы дошли до Льгова. И Владимир, и Ермолай<sup>1</sup>, оба решили, что без лодки охотиться было невозможно.

— У Сучка есть дощаник<sup>2</sup>, — заметил Владимир: — да я не знаю, куда он его спрятал. Надобно сбежать к нему.

— К кому? — спросил я.

— А здесь человек живёт, прозвище ему Сучок.

Владимир отправился к Сучку с Ермолаем.

Я сказал им, что буду ждать их у церкви...

Приход Ермолая, Владимира и человека с странным прозвищем Сучок — прервал мои размышления.

Босоногий, оборванный и взъерошенный Сучок казался с виду отставным дворовым<sup>3</sup>, лет шестидесяти.

— Есть у тебя лодка? — спросил я.

— Лодка есть, — отвечал он глухим и разбитым голосом: — да больно плоха<sup>4</sup>.

— А что?

— Расклеилась; да из дырьев клёпки повывалились.

— Велика беда! — подхватил Ермолай. — Паклей заткнуть можно.

— Известно, можно, — подтвердил Сучок.

— Да ты кто?

— Господский рыболов.

— Как же это ты рыболов, а лодка у тебя в такой неисправности?

— Да в нашей реке и рыбы-то нету.

— Рыба не любит ржавчины болотной, — с важностью заметил мой охотник.

---

<sup>1</sup> Владимир и Ермолай — охотники, с которыми охотится автор;

<sup>2</sup> Дощаник (диал.) — плоская лодка, сделанная из досок.

<sup>3</sup> Отставной дворовый (устар.) — здесь: бывший дворовый, т. е. человек, работавший на господском, помещичьем дворе;

<sup>4</sup> Больно плоха (разг.) — очень плоха;

— Ну, — сказал я Ермолаю, — поди<sup>1</sup> достань пакли и справь<sup>2</sup> нам лодку, да поскорей.

Ермолай ушёл.

— А ведь этак мы, пожалуй, и ко дну пойдём? — сказал я Владимиру.

— Бог милостив, — отвечал он. — Во всяком случае, должно предполагать, что пруд не глубоок.

— Да, он не глубоок, — заметил Сучок, который говорил как-то странно, словно спросонья, — да на дне тина и трава, и весь он травой зарос. Впрочем, есть тоже и колдобины<sup>3</sup>.

— Однако же, если трава так сильна, — заметил Владимир, — так и грести нельзя будет.

— Да кто же на дощанках гребёт? Надо пихаться. Я с вами поеду; у меня там есть шестик, — а то и лопатой можно.

— Лопатой неловко, до дна в ином месте, пожалуй, не достанешь, — сказал Владимир.

— Оно правда<sup>4</sup>, что неловко.

## 2.

Я присел на могилу в ожидании Ермолая. Владимир отошёл, для приличия, несколько в сторону и тоже сел. Сучок продолжал стоять на месте, повеся голову и сложив, по старой привычке, руки за спиной.

— Скажи, пожалуйста, — начал я, — давно ты здесь рыбаком?

— Седьмой год пошёл, — отвечал он востроенувшись.

— А прежде чем ты занимался?

— Прежде ездил кучером.

— Кто ж тебя из кучеров разжаловал?

— А новая барыня.

— Какая барыня?

— А что нас-то купила. Вы не изволите знать: Алёна Тимофеевна, толстая такая . . . немолодая.

— С чего ж она вздумала тебя в рыболовы произвести?

— А бог её знает. Приехала к нам из своей вотчины<sup>5</sup>, из Тамбова, велела всю дворю собрать, да и вышла к нам. Мы сперва к ручке, и она ничего: не серчает<sup>6</sup>. . . А потом и стали по порядку нас расспрашивать: чем занимался, в какой должности состоял? Дошла очередь до меня; вот и спрашивает: «Ты чем был?» Говорю: «Кучером». — «Кучером? Ну, какой ты кучер,

<sup>1</sup> Поди (разг.) — поиди;

<sup>2</sup> Справь (непр., разг.) — исправь;

<sup>3</sup> Колдобина — глубокое место, яма в пруде или в реке;

<sup>4</sup> Оно правда (разг.) — это правда.

<sup>5</sup> Вотчина (устар.) — имение;

<sup>6</sup> Серчать (нар.) — сердиться;

посмотри на себя: какой ты кучер? Не след<sup>1</sup> тебе быть кучером, будь у меня рыболовом и бороду сбрей. На случай моего приезда к господскому столу рыбу поставляй, слышишь?..» С тех пор, вот, я в рыболовах и числюсь. — «Да пруд у меня, смотри, содержать в порядке...» А как его содержать в порядке?

— Чьи же вы прежде были?

— А Сергея Сергеича Пехтерёва. По наследствию<sup>2</sup> ему достались. Да и он нами недолго владел, всего шесть годов. У него-то, вот, я кучером и ездил... да не в городе — там у него другие были, а в деревне.

— Ты смолоду всё был кучером?

— Какое всё кучером? В кучера-то я попал при Сергее Сергеиче, а прежде поваром был, — но не городским поваром, а так, в деревне.

— У кого же ты был поваром?

— А у прежнего барина, у Афанасья Нефедыча, у Сергея Сергеича дяди. Льгов-то он купил, Афанасий Нефедыч купил, а Сергею Сергеичу именье-то по наследствию досталось.

— У кого купил?

— У Татьяны Васильевны.

— У какой Татьяны Васильевны?

— А вот, что в запрошлом году умерла, под Болховым... то — бишь под Карачёвым, в девках... И замужем не бывала. Не извольте знать? Мы к ней поступили от её батюшки, от Василия Семёныча. Она-таки долгонько<sup>3</sup> нами владела... годиков двадцать.

— Что ж ты, и у ней был поваром?

— Сперва точно был поваром, а то и в кофишенки<sup>4</sup> попал.

— Во что?

— В кофишенки.

— Это что за должность такая?

— А не знаю, батюшка. При буфете состоял и Антоном назывался, а не Кузьмой. Так барыня приказать изволила.

— Твоё настоящее имя Кузьма?

— Кузьма.

— И ты всё время был кофишенком?

— Нет, не всё время: был и ахтёром<sup>5</sup>.

— Неужели?

— Как же, был... на кеятре<sup>6</sup> играл. Барыня наша кеятр у себя завела.

— Какие же ты роли занимал?

<sup>1</sup> Не след (разг.) — не следует;

<sup>2</sup> По наследствию (непр.) — по наследству.

<sup>3</sup> Долгонько (разг.) — довольно долго;

<sup>4</sup> Кофишенк (устар.) — слуга; который подавал кофе к барскому столу.

<sup>5</sup> Ахтёр (непр.) — актёр;

<sup>6</sup> Кеятр (непр.) — театр;

— Чего изволите-с?  
— Что ты делал на театре?  
— А вы не знаете? Вот меня возьмут и нарядят; я так и хожу наряженный, или стою, или сижу, как там придётся. Говорят: вот что говори, — я и говорю. Раз слепого представлял . . . Под каждую веку мне по горошине положили . . . Как же!

3.

— А потом чем был?  
— А потом опять в повора поступил.  
— За что же тебя в повора разжаловали?  
— А брат у меня сбежал.  
— Ну, а у отца твоей первой барыни чем ты был?  
— А в разных должностях состоял: сперва в казачках<sup>1</sup> находился, фалетором<sup>2</sup> был, садовником, а то и доезжачим<sup>3</sup>.  
— Доезжачим? . . . И с собаками ездил?  
— Ездил и с собаками, да убили: с лошадьёю упал и лошадь зашиб. Старый-то барин у нас был престрогий<sup>4</sup>; велел меня выпороть да в ученье отдать в Москву, к сапожнику.  
— Как в ученье? Да ты, чай, не ребёнком в доезжачие попал?  
— Да лет, этак, мне было двадцать в лишком.  
— Какое же тут ученье в двадцать лет?  
— Стало быть, ничего, можно, коли барин приказал. Да он, благо, скоро умер, — меня в деревню и вернули.  
— Когда же ты поварскому-то мастерству обучился?  
Сучок приподнял своё худенькое и жёлтенькое лицо и усмехнулся.  
— Да разве этому учатся? . . . Стряпают же бабы!  
— Ну, — промолвил я: — видал ты, Кузьма, виды на своём веку! Что же ты теперь в рыболовах делаешь, коль у вас рыбы нету?  
— А я, батюшка, не жалуясь. И слава богу, что в рыболовы произвели . . .  
— Есть у тебя семейство? Был женат?  
— Нет, батюшка, не был. Татьяна Васильевна покойница — царство ей небесное! — никому не позволяла жениться. Сохрани бог! Бывало, говорит: ведь живу же я так, в девках, что за баловство! Чего им надо?  
— Чем же ты живёшь теперь? Жалованье получаешь?

---

<sup>1</sup> Казачок (устар.) — мальчик-слуга;  
<sup>2</sup> Фалетор (устар., непр.) — форейтор, т. е. кучер, сидевший верхом на первой лошади;  
<sup>3</sup> Доезжачий (устар.) — охотник, который вёл собак на охоте;  
<sup>4</sup> Престрогий — очень строгий.

— Какое, батюшка, жалованье!.. Харчи выдаются — и то слава тебе, господи! много доволен. Продли бог века нашей госпоже!

Ермолай вернулся.

— Справлена лодка, — произнёс он сурово. — Ступай за шестом — ты!..

Сучок побежал за шестом.

## НАКАНУНЕ

(1860)

### VI

Между тем Елена вернулась в свою комнату, села перед раскрытым окном и оперлась головой на руки. Проводить каждый вечер около четверти часа у окна своей комнаты вошло у ней в привычку. Она беседовала сама с собою в это время, отдавала себе отчет в протекшем дне. Ей недавно минул двадцатый год. Росту она была высокая, лицо имела бледное и смуглое, большие серые глаза под круглыми бровями, окруженные крошечными веснушками, лоб и нос совершенно прямые, сжатый рот и довольно острый подбородок. Ее темно-русая коса спускалась низко на тонкую шею. Во всем ее существе было что-то такое, что не могло всем нравиться, что даже отталкивало иных. Руки у ней были узкие, розовые, с длинными пальцами, ноги тоже узкие; она ходила быстро, почти стремительно, немного наклоняясь вперед.

Она росла очень странно; сперва обожала отца, потом страстно привязалось к матери и охладела к обоим, особенно к отцу. Слабость возмущала ее, глупость сердила, ложь она не прощала «во веки веков»; требования ее ни перед чем не отступали. Стоило человеку потерять ее уважение — и уж он переставал существовать для нее. Все впечатления резко вложились в ее душу; не легко давалась ей жизнь.

Гувернантка, которой Анна Васильевна поручила закончить воспитание своей дочери, — была из русских. Гувернантка эта очень любила литературу и сама пописывала стишки; она приохотила Елену к чтению, но чтение одно ее не удовлетворяло: она с детства жаждала деятельности, деятельного добра; нищие, голодные, больные ее занимали; тревожили, мучили; На десятом году Елена познакомилась с нищею девочкой Катей и тайком ходила к ней на свидание в сад, приносила ей лакомства, дарила ей платки, гривеннички — игрушек Катя не брала. Она садилась к ней рядом на сухую землю, в глуши, за кустом крапивы; Елена возвращалась домой и долго потом думала о нищих.

Впрочем, знакомство ее с Катей продолжалось недолго: бедная девочка занемогла горячкой и через несколько дней умерла.

Елена очень тосковала и долго по ночам заснуть не могла, когда узнала о смерти Кати. Последние слова нищей девочки беспрестранно звучали у ней в ушах, и ей самой казалось, что ее зовут.

А годы шли и шли: быстро и неслышно, как подснежные воды, протекала молодость Елены в бездействии внешнем, во внутренней борьбе и тревоге. Подруг у ней не было: изо всех девиц, посещавших дом Стаховых, она не сошлась ни с одной. С шестнадцатилетнего возраста она стала почти совсем независима; она зажила собственно своею жизнью, но жизнью одинокою. Она иногда сама себя не понимала, даже боялась самой себя. Все, что окружало ее, казалось ей не то бессмысленным, не то понятным. «Как жить без любви? а любить некого!» — думала она, и страшно становилось ей от этих дум, от этих ощущений. Восемнадцати лет она чуть не умерла от злокачественной лихорадки.

Иногда ей приходило в голову, что она желает чего-то, чего никто не желает, о чем никто не мыслит в целой России. Потом она утихла, даже смеялась над собой, беспечно проводила день за днем, но внезапно что-то сильное, безымянное, так и закипело в ней, так и просилось вырваться наружу. Как она ни старалась не выдать того, что в ней происходило, родные ее часто были вправе пожимать плечами, удивляться и не понимать ее «странностей».

В день, с которого начался наш рассказ, Елена дольше обыкновенного не отходила от окна.

## X

... Берсенеv долго говорил с Еленой. Разговор перешёл к университету.

— Скажите, — спросила его Елена, — между вашими товарищами были замечательные люди?

— Нет, Елена Николаевна, сказать вам по правде, не было между нами ни одного замечательного человека. Да и где! Было, говорят, время в московском университете! Только не теперь. Теперь, это училище — не университет. Мне было тяжело с моими товарищами, — прибавил он, понизив голос.

— Тяжело?.. — прошептала Елена.

— Впрочем, — продолжал Берсенеv: — я должен оговориться. Я знаю одного студента, — правда он не моего курса, — это, действительно, замечательный человек.

— Как его зовут? — с живостью спросила Елена.

— Инсаров, Дмитрий Никанорович. Он болгар.

— Не русский?

— Нет, не русский.

— Зачем же он живёт в Москве?

— Он приехал сюда учиться. И знаете ли, с какой целью он учится? У него одна мысль: освобождение его родины. И судьба его необыкновенная. Отец его был довольно зажиточный купец родом из Тырнова. Тырнов теперь небольшой городок, а в старину это была столица Болгарии, когда ещё Болгария была независимым королевством. Торговал он в Софии, имел сношения с Россией; сестра его, родная тётка Инсарова, до сих пор живёт в Киеве, замужем за старшим учителем истории в тамошней гимназии. В 1835 году, стало быть восемнадцать лет тому назад, совершилось ужасное злодеяние: мать Инсарова вдруг пропала без вести — через неделю её нашли зарезанною.

Елена содрогнулась. Берсенева остановилась.

— Продолжайте, продолжайте, — проговорила она.

— Ходили слухи, что её похитил и убил турецкий ага; её муж, отец Инсарова, дознался правды, хотел отомстить, но он только ранил кинжалом агу... Его расстреляли.

— Расстреляли? без суда?

— Да, Инсарову в то время пошёл восьмой год. Он остался на руках у соседей. Сестра узнала об участии братниного семейства и пожелала иметь племянника у себя. Его доставили в Одессу, а оттуда в Киев. В Киеве он прожил целых двенадцать лет. Оттого он так хорошо говорит по-русски.

— Он говорит по-русски?

— Как мы с вами. Когда ему минуло двадцать лет (это было в начале 48-го года), он пожелал вернуться на родину. Был в Софии и Тырнове, всю Болгарию исходил вдоль и поперёк, провёл в ней два года, выучился опять родному языку. Турецкое правительство преследовало его, и он, вероятно, в эти два года подвергался большим опасностям: я раз увидел у него на шее широкий рубец, должно быть, след раны; но он об этом говорить не любит. Он тоже, в своём роде, молчальник. Я пытался его расспрашивать — не тут-то было. Отвечает общими фразами. Он ужасно упрям. В 50-м году он опять приехал в Россию, в Москву, с намерением образоваться вполне, сблизиться с русскими... а потом, когда он выйдет из университета...

— Что же тогда? — перебила Елена.

— А что бог даст. Мудрено вперёд загадывать.

Елена долго не спускала глаз с Берсенева.

— Вы очень заинтересовали меня своим рассказом, — промолвила она. — Каков он из себя, этот ваш, как вы его назвали... Инсаров?

— Как вам сказать... по-моему, недурён. Да вот вы сами его увидите.

— Как так?

— Я его приведу сюда, к вам. Он послезавтра переезжает в нашу деревеньку и будет жить со мной на одной квартире.

— Неужели? Да захочет ли он прийти к нам?

— Еще бы! Он очень будет рад.

— Он не горд?

— Он? Нимало. То-есть, если хотите, он горд, только не в том смысле, как вы понимаете. Денег он, например, займы ни от кого не возьмёт.

— А он беден?

— Да, небогат . . .

— У него, должно быть, много характера, — заметила Елена.

— Да. Это железный человек. И в то же время, вы увидите — в нём есть что-то детское, искреннее, при всей его сосредоточенности и даже скрытности. Правда, его искренность — не наша дрянная искренность, искренность людей, которым скрывать решительно нечего . . . Да вот я его к вам приведу, погодите.

— И не застенчив он? — спросила опять Елена.

— Нет — не застенчив. Одни самолюбивые люди застенчивы.

— Вы возбуждаете моё любопытство, — продолжала Елена. — Ну, а скажите, не отомстил он этому турецкому аге?

Берсенеv улыбнулся.

— Мстят только в романах, Елена Николаевна; да и притом в двенадцать лет этот ага мог умереть.

— Однако . . . господин Инсаров вам ничего об этом не говорил?

— Ничего.

— Зачем он ездил в Софию?

— Там отец его жил.

Елена задумалась.

— Освободить свою родину! — промолвила она. — Эти слова даже выговорить страшно — так они велики . . .

[Берсенеv приглашает к себе на дачу Инсарова и знакомит его с Еленой. Неожиданно Инсаров исчезает, и обеспокоенный этим Берсенеv сообщает об этом Елене.]

## XVIII

Елена шла, потупив голову и неподвижно устремив глаза вперёд. Она ничего не боялась, она ничего не соображала; она хотела ещё раз увидаться с Инсаровым. Она шла, не замечая, что солнце давно скрылось, что ветер порывисто шумел в деревьях и клубил её платье, что пыль внезапно поднималась и неслась столбом по дороге . . . Крупный дождик закапал, она и его не замечала; но он пошёл всё чаще, всё сильнее, сверкнула молния, гром ударил. Елена остановилась, посмотрела вокруг . . . К её счастью, невдалеке от того места, где застала её гроза, находилась ветхая заброшенная часовенка над развалившимся колод-

цем. Она добежала до неё и вошла под низенький навес. Дождь хлынул ручьями; небо кругом обложилось. Последняя надежда увидеться с Инсаровым исчезла.

Дождик сеялся всё мельче и мельче, солнце заиграло на мгновенье. Елена собиралась покинуть своё убежище... Вдруг, в десяти шагах от часовни, она увидела Инсарова. Закутанный плащом, он шёл по той же самой дороге, по которой пришла Елена; казалось, он спешил домой.

Она оперлась рукой о ветхое перильце крылечка, хотела познать его, но голос изменил ей... Инсаров уже проходил мимо, не поднимая головы...

— Дмитрий Никанорович! — проговорила она наконец. Инсаров внезапно остановился, оглянулся... В первую минуту он не узнал Елены, но тотчас же подошёл к ней.

— Вы! вы здесь! — воскликнул он.

Она отступила, молча, в часовню. Инсаров последовал за Еленой.

— Вы здесь? — повторил он.

Она продолжала молчать и только глядела на его каким-то долгим, мягким взглядом. Он опустил глаза.

— Вы шли от нас? — спросила его она.

— Нет... не от вас.

— Нет? — повторила Елена и постаралась улыбнуться. — Так-то вы держите ваши обещания? Я вас ждала с утра.

— Я вчера, вспомните, Елена Николаевна, ничего не обещал. Елена опять едва улыбнулась и провела рукой по лицу. И лицо, и рука были очень бледны.

— Вы, стало быть, хотели уехать, не простившись с нами?

— Да, — сурово и глухо промолвил Инсаров.

— Как? После нашего знакомства, после этих разговоров, после всего... Стало быть, если б я вас здесь не встретила случайно (голос Елены зазвенел, и она умолкла на мгновение)... так бы вы и уехали, и руки бы мне не пожали в последни раз — и вам бы не было жаль?

Инсаров отвернулся.

— Елена Николаевна, пожалуйста, не говорите так. Мне и без того не весело. Поверьте, моё решение мне стоило больших усилий. Если б вы знали...

— Я не хочу знать, — с испугом перебила его Елена, — зачем вы едете... Видно, так нужно. Видно, нам должно расстаться. Вы без причины не захотели бы огорчить ваших друзей. Но разве так расстаются друзья? Ведь мы друзья с вами, не правда ли?

— Нет, — сказал Инсаров.

— Как? — промолвила Елена. Щеки её покрылись лёгким румянцем.

— Я именно оттого и уезжаю, что мы не друзья. Не заставляйте меня сказать то, что я не хочу сказать, что я не скажу.

— Вы прежде были со мной откровенны, — с лёгким упреком произнесла Елена. — Помните?

— Тогда я мог быть откровенным — тогда мне скрывать было нечего; а теперь...

— А теперь? — спросила Елена.

— А теперь... А теперь я должен удалиться. Прощайте.

Если б в это мгновенье Инсаров поднял глаза на Елену, он бы заметил, что лицо её всё больше светлело, чем больше он сам хмурился и темнел; но он упорно глядел на пол.

— Ну, прощайте, Дмитрий Никанорович, — начала она. — Но, по крайней мере, так как мы уже встретились, дайте мне теперь вашу руку.

Инсаров протянул было руку.

— Нет, и этого я не могу, — промолвил он и отвернулся снова.

— Не можете?

— Не могу. Прощайте.

И он направился к выходу часовни.

— Погодите ещё немножко, — сказала Елена. — Вы как будто боитесь меня. А я храбрее вас, — прибавила она с внезапной лёгкой дрожью во всём теле. — Я могу вам сказать... хотите?.. отчего вы меня здесь застали? Знаете ли, куда я шла?

Инсаров с изумлением посмотрел на Елену.

— Я шла к вам.

— Ко мне?

Елена закрыла лицо.

— Вы хотели заставить меня сказать, что я вас люблю. — прошептала она: — вот... я сказала.

— Елена! — вскрикнул Инсаров.

Она приняла руки, взглянула на него, и упала к нему на грудь.

Он крепко обнял её — и молчал. Ему не нужно было говорить ей, что он её любит. Из одного его восклицания, из этого мгновенного преобразования всего человека, из того, как поднималась и опускалась эта грудь, к которой она так доверчиво прильнула, как прикасались концы его пальцев к её волосам, Елена могла понять, что она любима... Он молчал — и ей не нужно было слов. «Он тут, он любит... чего ж ещё?»

А он стоял неподвижно, он окружал своими крепкими объятиями эту молодую, отдавшуюся ему жизнь, он ощущал на груди это новое, бесконечно дорогое бремя — чувство умиления, чувство благодарности неизъяснимой разбило в прах его твёрдую душу, и никогда ещё не изведанные слёзы навернулись на его глаза.

А она не плакала; она твердила только: «О, мой друг! о, мой брат!»

— Так ты пойдёшь за мною всюду? — говорил он ей, четверть часа спустя, попрежнему окружая и поддерживая её своими объятиями.

— Всюду — на край земли. Где ты будешь, там я буду.

— И ты себя не обманываешь, ты знаешь, что родители твои никогда не согласятся на наш брак?

— Я себя не обманываю; я это знаю.

— Ты знаешь, что я беден, почти нищий?

— Знаю.

— Что я не русский, что мне не суждено жить в России, что тебе придётся разорвать все твои связи с отечеством, с родными?

— Знаю, знаю.

— Ты знаешь, также, что я посвятил себя делу трудному, неблагодарному, что мне... что нам придётся подвергаться не одним опасностям, но и лишениям, унижению, быть может?

— Знаю, всё знаю... Я тебя люблю.

— Что ты должна будешь отстать от всех твоих привычек, что там одна, между чужими, ты может быть, принуждена будешь работать...

Она положила ему руку на губы.

— Я люблю тебя, мой милый.

Он начал горячо целовать её узкую, розовую руку. Елена не отнимала её от губ и с какой-то детской радостью, с смеющимся любопытством глядела, как он покрывал поцелуями то самую руку её, то пальцы...

# Н. А. НЕКРАСОВ

(1821—1878)

## РАЗМЫШЛЕНИЯ У ПАРАДНОГО ПОДЪЕЗДА

(отрывок)

... Родная земля!  
Назови мне такую обитель,  
Я такого угла не видал,  
Где бы сеятель твой и хранитель,  
Где бы русский мужик не стонал?  
Стонет он по полям, по дорогам,  
Стонет он по тюрьмам, по острогам,  
В рудниках, на железной цепи;  
Стонет он под овином, под стогом,  
Под телегой, ночуя в степи;  
Стонет в собственном бедном домишке,  
Свету божьего солнца не рад;  
Стонет в каждом глухом городишке,  
У подъезда судов и палат.  
Выдь на Волгу: чей стон раздается  
Над великою русской рекой?  
Этот стон у нас песней зовется —  
То бурлаки идут бечевой! ..  
Волга! Волга! .. Весной многоводной  
Ты не так заливаешь поля,  
Как великою скорбью народной  
Переполнилась наша земля, —  
Где народ, там и стон .. Эх, сердечный!  
Что же значит твой стон бесконечный?  
Ты проснешься ль, исполненный сил,  
Иль, судеб повинуюсь закону,  
Все, что мог, ты уже совершил, —  
Создал песню, подобную стону,  
И духовно навеки почил? ..

# ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

(Посвящается детям)

(Отрывки)

В а н я (в кучерском армячке).  
Папаша! кто строил это дорогу?  
Папаша (в пальто на красной подкладке)  
Граф Петр Андреевич Клейнмихель, душенька!  
Разговор в вагоне.

.....

## II

.....

Эту привычку к труду благородную  
Нам бы не худо с тобой перенять ...  
Благослови же работу народную  
И научись мужика уважать.

Да не робей за отчизну любезную ...  
Вынес достаточно русский народ,  
Вынес и эту дорогу железную —  
Вынес все, что господь ни пошлет!

Вынесет все — и широкую, ясную  
Грудью дорогу проложит себе.  
Жаль только — жить в эту пору прекрасную  
Уж не придется — ни мне ни тебе.

## КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО

(Отрывки)

### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

#### Пролог

В каком году — рассчитывай,	Пустопорожней волости,
В какой земле — угадывай,	Из смежных деревень —
На столбовой дороженьке	Заплатова, Дырявина,
Сошлись семь мужиков:	Разутова, Знобишина,
Семь временнообязанных;	Горелова, Неелова,
Подтянутой губернии,	Неурожайка тож.
Уезда Терпигорева,	Сошлись — и заспорили:

Кому живется весело,  
Вольготно на Руси?  
Роман сказал: помещику,  
Демьян сказал: чиновнику,  
Лука сказал: попу.  
Купчине толстопузому! —  
Сказали братья Губины,  
Иван и Митродор.

Старик Пахом потужился  
И молвил, в землю глядучи:  
Вельможному боярину,  
Министру государеву.  
А Пров сказал: царю...

## САВЕЛИЙ, БОГАТЫРЬ СВЯТОРУССКИЙ

Осьмнадцать лет терпели мы.  
Застроил немец фабрику,  
Велел колодец рыть.  
Вдевятером копали мы,  
До полдня проработали,  
Позавтракать хотим.  
Приходит немец:

«Только-то?..»

И начал нас по-своему,  
Не торопясь, пилить.  
Стояли мы, голодные,  
А немец нас поругивал  
Да в яму землю мокрую  
Пошвыривал ногой.  
Была уж яма добрая ...  
Случалось, я легонечко  
Толкнул его плечом,  
Потом другой толкнул его,  
И третий ... Мы посгруди-

лись ...

До ямы два шага ...  
Мы слова не промолвили,  
Друг другу не глядели мы  
В глаза ... а всей гурьбой  
Христьяна Христианыча  
Поталкивали бережно  
Всё к яже ... всё на край ...  
И немец в яму бухнулся,  
Кричит: веревку! лестницу!  
Мы девятью лопатами  
Ответили ему.

«Наддай! наддай!» Так

наддали,

Что ямы словно не было —  
Сровнялася с землей!

Тут мы переглянулись ...  
Остановился дедушка.  
— Что ж дальше?

«Дальше — дрянь!

Кабак ... острог в Буй-городе,  
Там я учился грамоте,  
Пока решили нас.  
Решенье вышло: каторга  
И плети предварительно;  
Не выдрали — помазали,  
Плохое там дрянье!  
Потом ... бежал я с каторги ...  
Поймали! не погладили  
И тут по голове.

Заводские начальники  
По всей Сибири славятся —  
Собаку съели драть.  
Да нас дирал Шалашников  
Большей — я не поморщился  
С заводского дрянья.  
Тот мастер был — умел пороть!  
Он так мне шкуру выделал,  
Что носится сто лет.  
А жизнь была нелегкая.  
Лет двадцать строгой каторги,  
Лет двадцать поселения,  
Я денег приқопил,  
Под манифесту царскому  
Попал опять на родину,  
Пристроил эту горенку  
И здесь давно живу.  
Покуда были денежки,

Любили деда, ходили,  
Теперь в глаза плюют!  
Эх! вы, Аники-воины!

Со стариками, с бабами  
Вам только воевать . . .»

Тут кончил речь Савельюшка.

Запомнил Гриша песенку  
И голосом молитвенным  
Тихонько в семинарии,  
Где было темно, холодно,  
Угрюмо, строго, голодно,  
Певал — тужил о матушке  
И обо всей вахлячине,  
Кормилице своей.

И скоро в сердце мальчика  
С любовью к бедной матери  
Любовь к всей вахлячине  
Слилась — и лет пятнадцати  
Григорий твердо знал уже,  
Что будет жить для счастья  
Убогого и темного  
Родного уголка.

Как ни темна вахлячина,  
Как ни забита барщиной  
И рабством — и она,  
Благословясь, поставила  
В Григорье Добросклонове

Такого посланца.  
Ему судьба готовила  
Путь славный, имя громкое  
Народного заступника,  
Чухотку и Сибирь.

## РУСЬ

Ты и убогая,  
Ты и обильная,  
Ты и могучая,  
Ты и бессильная,  
Матушка-Русь.

В рабстве спасенное  
Сердце свободное —  
Золото, золото  
Сердце народное.

Сила народная,  
Сила могучая —  
Совість спокойная,  
Правда живучая!

Сила с неправдою  
Не уживается,  
Жертва неправдою  
Не вызывается —

Русь не шелохнется,  
Русь — как убитая!  
А загорелась в ней  
Искра сокрытая —

Встали — небужены,  
Вышли — непрошены,  
Жита по зернышку  
Горы nanoшены!

Рать подымается —  
Неисчислимая!  
Сила в ней скажется  
Несокрушимая!

Ты и убогая,  
Ты и обильная,  
Ты и забитая,  
Ты и всесильная,  
Матушка-Русь! . .

# Л. Н. ТОЛСТОЙ

(1828—1910)

## ВОЙНА И МИР

(Отрывки из романа.)

### СВЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО

(Том I, часть первая, главы II и III.)

#### Глава II.

Гостиная Анны Павловны начала понемногу наполняться. Приехала высшая знать Петербурга, люди самые разнородные по возрастам и характерам, но одинаковые по обществу, в каком все жили; приехала дочь князя Василия, красавица Элен, захавшая за отцом, чтобы с ним вместе ехать на праздник посланника. Она была в шифре<sup>1</sup> и бальном платье. Приехала и известная, как *la femme la plus séduisante de Pétersbourg*<sup>2</sup>, молодая, маленькая княгиня Болконская, прошлую зиму вышедшая замуж и теперь не выезжавшая в большой свет по причине своей беременности, но ездившая ещё на небольшие вечера. Приехал князь Ипполит, сын князя Василия, с Мортемаром, которого он представил; приехал и аббат<sup>3</sup> Морио и многие другие.

— Вы не видали ещё — или; — вы не знакомы с *ma tante*<sup>4</sup>? — говорила Анна Павловна приезжавшим гостям и весьма серьёзно подводила их к маленькой старушке в высоких бантах, выплывшей из другой комнаты, как скоро стали приезжать гости, называла их по имени, медленно переводя глаза с гостя на *ma tante*<sup>5</sup> и потом отходила.

Все гости совершали обряд приветствования никому не известной, никому не интересной и не нужной тётушки. Анна Павловна с грустным, торжественным участием следила за их приветствиями, молчаливо одобряя их. *Ma tante* каждому говорила в одних и тех же выражениях о его здоровье, о своём здоровье

<sup>1</sup> Шифр — знак отличия в виде вензеля царицы, высшая награда лично кончившим курс институткам.

<sup>2</sup> Самая обворожительная женщина в Петербурге.

<sup>3</sup> Аббат — католический священник.

<sup>4</sup> С тётушкой?

<sup>5</sup> На тётушку.

и о здоровье её величества, которое нынче было, слава богу, лучше. Все подходившие, из приличия не высказывая поспешности, с чувством облегчения исполненной тяжёлой обязанности отходили от старушки, чтоб уже весь вечер ни разу не подойти к ней.

Молодая княгиня Болконская приехала с работой в шитом золотом бархатном мешке. Её хорошенькая, с чуть черневшими усиками верхняя губка была коротка по зубам, но тем милее она открывалась и тем ещё милее вытягивалась иногда и опускалась на нижнюю. Как это всегда бывает у вполне привлекательных женщин, недостаток её — короткость губы и полуоткрытый рот — казались её особенною, собственно её красотой. Всем было весело смотреть на эту, полную здоровья и живости, хорошенькую будущую мать, так легко переносившую своё положение. Старикам и скучающим, мрачным молодым людям казалось, что они сами делаются похожи на неё, побыв и поговорив несколько времени с ней. Кто говорил с ней и видел при каждом слове её светлую улыбочку и блестящие белые зубы, которые виднелись беспрестанно, тот думал, что он особенно нынче любезен. И это думал каждый.

Маленькая княгиня, переваливаясь маленькими быстрыми шажками обошла стол с рабочею сумочкой на руке и, весело оправляя платье, села на диван, около серебряного самовара, как будто всё, что она ни делала, было *partie de plaisir*<sup>1</sup> для неё и для всех её окружающих.

— *J'ai apporté mon ouvrage*<sup>2</sup>, — сказала она, развёртывая свой ридикюль и обращаясь ко всем вместе.

— Смотрите, *Annette, ne me jouez pas un mauvais tour*, — обратилась она в хозяйке. — *Vous m'avez écrit, que c'était une toute petite soirée; voyez, comme je suis attifée*<sup>3</sup>.

И она развела руками, чтобы показать своё, в кружевах, серенькое изящное платье, немного ниже груди опоясанное широкою лентой.

— *Soyez tranquille, Lise, vous serez toujours la plus jolie*<sup>4</sup>, — отвечала Анна Павловна.

— *Vous savez, mon mari m'abandonne*, — продолжала она тем же тоном, обращаясь к генералу, — *il va se faire tuer. Dites moi, pourquoi cette vilaine guerre*<sup>5</sup>, — сказала она князю Василию и, не дожидаясь ответа, обратилась к дочери князя Василия, красивой Элен.

<sup>1</sup> Увеселением.

<sup>2</sup> Я захватила работу.

<sup>3</sup> Не сыграйте со мной злой шутки. Вы мне писали, что у вас совсем маленький вечер, видите, как я наряжена.

<sup>4</sup> Будьте покойны, Лиза, вы всё-таки будете лучше всех.

<sup>5</sup> Вы знаете, что мой муж покидает меня. Идёт на смерть. Скажите, зачем эта гадкая война.

— Quelle délicieuse personne, que cette petite princesse! <sup>1</sup> — сказал князь Василий тихо Анне Павловне.

Вскоре после маленькой княгини вошёл массивный, толстый молодой человек с стриженою головой, в очках, светлых панталонах по тогдашней моде, с высоким жабо <sup>2</sup> и в коричневом фраке. Этот толстый молодой человек был незаконный сын знаменитого екатерининского вельможи, графа Безухова, умиравшего теперь в Москве. Он нигде не служил ещё, только что приехал из-за границы, где он воспитывался, и был в первый раз в обществе. Анна Павловна приветствовала его поклоном, относящимся к людям самой низшей иерархии <sup>3</sup> в её салоне. Но, несмотря на это низшее по своему сорту приветствие, при виде вошедшего Пьера, в лице Анны Павловны изобразилось беспокойство и страх, подобный тому, который выражается при виде чего-нибудь слишком огромного и несвойственного месту. Хотя, действительно, Пьер был несколько больше других мужчин в комнате, но этот страх мог относиться только к тому умному и вместе робкому, наблюдательному и естественному взгляду, отличавшему его от всех в этой гостиной.

— C'est bien aimable à vous, monsieur Pierre, d'être venu voir une pauvre malade <sup>4</sup>, — сказала ему Анна Павловна, испуганно переглядываясь с тётушкой, к которой она подводила его. Пьер пробурлил что-то непонятное и продолжал отыскивать что-то глазами. Он радостно, весело улыбнулся, кланяясь маленькой княгине, как близкой знакомой, и подошёл к тётушке. Страх Анны Павловны был не напрасен, потому что Пьер, не дослушав речи тётушки о здоровье её величества, отошёл от неё. Анна Павловна испуганно остановила его словами:

— Вы не знаете аббата Морио? Он очень интересный человек... — сказала она.

— Да, я слышал про его план вечного мира, и это очень интересно, но едва ли возможно...

— Вы думаете?.. — сказала Анна Павловна, чтобы сказать что-нибудь и вновь обратиться к своим занятиям хозяйки дома, но Пьер сделал обратную неучтивость <sup>5</sup>. Прежде он, не дослушав слов собеседницы, ушёл; теперь он остановил своим разговором собеседницу, которой нужно было от него уйти. Он, нагнув го-

<sup>1</sup> Что за милая особа, эта маленькая княгиня!

<sup>2</sup> Жабо — сборчатая обшивка из кружев или кисеи вокруг ворота и на груди мужской сорочки; полотняный стоячий воротник, закрывающий низ щёк.

<sup>3</sup> Иерархия — порядок подчинения низших высшим по точно определённым стадиям.

<sup>4</sup> Очень мило с вашей стороны, месьё Пьер, что вы приехали навестить бедную больную.

<sup>5</sup> Неучтивость — невежливость, непочтительность.

лову и расставив большие ноги, стал доказывать Анне Павловне, почему он полагал, что план аббата был химера<sup>1</sup>.

— Мы после поговорим, — сказала Анна Павловна, улыбаясь.

И, отделившись от молодого человека, не умеющего жить, она возвратилась к своим занятиям хозяйки дома и продолжала прислушиваться и приглядываться, готовая подать помощь на тот пункт, где ослабевал разговор. Как хозяин прядильной мастерской, посадив работников по местам, прохаживается по заведению, замечая неподвижность или непривычный, скрипящий, слишком громкий звук веретена, торопливо идёт, сдерживает или пускает его в надлежащий ход, — так и Анна Павловна, прохаживаясь по своей гостиной, подходила к замолкнувшему или слишком много говорившему кружку и одним словом или перемещением опять заводила равномерную, приличную разговорную машину. Но среди этих забот всё виден был в ней особенный страх за Пьера. Она заботливо поглядывала на него в то время, как он подошёл послушать то, что говорилось около Мортемара, и отошёл к другому кружку, где говорил аббат. Для Пьера, воспитанного за границей, этот вечер Анны Павловны был первый, который он видел в России. Он знал, что тут собрана вся интеллигенция Петербурга, и у него, как у ребёнка в игрушечной лавке, разбегались глаза. Он всё боялся пропустить умные разговоры, которые он может услышать. Глядя на уверенные и изящные выражения лиц, собранных здесь, он всё ждал чего-нибудь особенно умного. Наконец, он подошёл к Марию. Разговор показался ему интересен, и он остановился, ожидая случая высказать свои мысли, как это любят молодые люди.

### Глава III.

Вечер Анны Павловны был пущен. Веретёна с разных сторон равномерно и не умолкая шумели. Кроме *ma tante*, около которой сидела только одна пожилая дама с исплаканным, худым лицом, несколько чужая в этом блестящем обществе, общество разбилось на три кружки. В одном, более мужском, центром был аббат; в другом, молодом, красавица-княжна Элен, дочь князя Василия, и хорошенькая, румяная, слишком полная по своей молодости, маленькая княгиня Болконская. В третьем Мортемар и Анна Павловна.

Виконт<sup>2</sup> был миловидный, с мягкими чертами и приёмами, молодой человек, очевидно считавший себя знаменитостью, но, по благовоспитанности, скромно предоставлявший пользоваться собой тому обществу, в котором он находился. Анна Павловна,

<sup>1</sup> Химера — *здесь*: несбыточная, странная мечта, неосуществимая фантазия.

<sup>2</sup> Виконт — дворянский титул во Франции и Англии.

очевидно, угощала им своих гостей. Как хороший метрдотель<sup>1</sup> подаёт как нечто сверхъестественно-прекрасное тот кусок говядины, который есть не захочется, если увидеть его в грязной кухне, так в нынешний вечер Анна Павловна сервировала своим гостям сначала виконта, потом аббата, как что-то сверхъестественно-утончённое. В кружке Мортемара заговорили тотчас об убиении герцога Энгиенского. Виконт сказал, что герцог Энгиенский погиб от своего великодушия и что были особенные причины озлобления Бонапарта.

— Ah! voyons. Conte<sup>2</sup>-nous cela, vicomte<sup>2</sup>, — сказала Анна Павловна, с радостью чувствуя, как чем-то à la Louis XV<sup>3</sup> отзывается эта фраза, — contez-nous cela, vicomte.

Виконт поклонился в знак покорности и учтиво улыбнулся. Анна Павловна сделала круг около виконта и пригласила всех слушать его рассказ.

— Le vicomte a été personnellement connu de mongeigneur<sup>4</sup>, — шепнула Анна Павловна одному. — Le vicomte est un parfait conteur<sup>5</sup>, — проговорила она другому. — Comme on voit l'homme de la bonne compagnie<sup>6</sup>, — сказала она третьему; и виконт был подан обществу в самом изящном и выгодном для него свете, как ростбиф<sup>7</sup> на горячем блюде, посыпанный зеленью.

Виконт хотел уже начать свой рассказ и тонко улыбнулся.

— Переходите сюда, chère Hélène<sup>8</sup>, — сказала Анна Павловна красавице-княжне, которая сидела поодаль, составляя центр другого кружка.

Княжна Элен улыбалась; она поднялась с тою же неизменяющею улыбкой вполне красивой женщины, с которою она вошла в гостиную. Слегка шумя своею белою бальной робой<sup>9</sup>, убранною плюшем и мохом, и блестя белизной плеч, глянец волос и бриллиантов, она прошла между расступившимися мужчинами и прямо, не глядя ни на кого, но всем улыбаясь и как бы любезно предоставляя каждому право любоваться красотой своего стана, полных плеч, очень открытой, по тогдашней моде, груди и спины, как будто внося с собою блеск бала, подошла к Анне Павловне. Элен была так хороша, что не только не было в ней заметно и тени кокетства, но, напротив, ей как будто совестно за свою несомненную и слишком сильно и победительно-

<sup>1</sup> Метрдотель — главный официант в ресторане, в гостинице, ведающий кухней и столом.

<sup>2</sup> Ах, да! расскажите нам это, виконт.

<sup>3</sup> Напоминающим Людовика XV.

<sup>4</sup> Виконт был лично знаком с герцогом.

<sup>5</sup> Виконт — удивительный мастер рассказывать.

<sup>6</sup> Как сейчас виден человек хорошего общества.

<sup>7</sup> Ростбиф — кушанье из жареной говядины.

<sup>8</sup> Милая Элен.

<sup>9</sup> Роба — платье, одежда.

действующую красоту. Она как будто желала и не могла ума-  
лить действие своей красоты.

— *Quelle belle personne!*<sup>1</sup> — говорил каждый, кто её видел.  
Как будто поражённый чем-то необычайным, виконт пожал пле-  
чами и опустил глаза в то время, как она усаживалась перед  
ним и освещала и его всё тою же неизменною улыбкой.

— *Madame, je crains pour mes moyens devant un pareil audi-  
toire*<sup>2</sup>, — сказал он, наклоняя с улыбкой голову.

Княжна облокотила свою открытую полную руку на столик  
и не нашла нужным что-либо сказать. Она улыбаясь ждала. Во  
всё время рассказа она сидела прямо, посматривая изредка то  
на свою полную красивую руку, легко лежавшую на столе, то  
на ещё более красивую грудь, на которой она поправляла брил-  
лиантовое ожерелье; поправляла несколько раз складки своего  
платья и, когда рассказ производил впечатление, оглядывалась  
на Анну Павловну и тотчас же принимала то самое выражение,  
которое было на лице фрейлины<sup>3</sup>, и потом опять успокаивалась  
в сияющей улыбке. Вслед за Элен перешла и маленькая кня-  
гиня от чайного стола.

— *Attendez moi, je vais prendre mon ouvrage*<sup>4</sup>, — проговорила  
она. — *Voyons, à quoi pensez-vous?* — обратилась она к князю.  
Ипполиту: — *apportez-moi mon ridicule*<sup>5</sup>.

Княгиня, улыбаясь и говоря со всеми, вдруг произвела пере-  
становку и, усевшись, весело оправилась.

— Теперь мне хорошо, — приговаривала она и, попросив на-  
чинать, принялась за работу.

Князь Ипполит перенёс ей ридикюль, перешёл за нею и,  
близко придвинув к ней кресло, сел подле неё.

*Le charmant Hippolyte*<sup>6</sup> поражал своим необыкновенным  
сходством с сестрою-красавицею и ещё более тем, что, несмотря  
на сходство, он был поразительно дурён собой. Черты его лица  
были те же, как и у сестры, но у той всё освещалось жизнера-  
достною, самодовольною, молодою, неизменною улыбкой и нео-  
бычайною, античною красотою тела; у брата, напротив, то же  
лицо было отуманено идиотизмом и неизменно выражало само-  
уверенную брюзгливость<sup>7</sup>, а тело было худощаво и слабо. Глаза,  
нос, рот — всё сжималось как будто в одну неопределённую и  
скучную гримасу, а руки и ноги всегда принимали неестествен-  
ное положение.

<sup>1</sup> Что за красавица!

<sup>2</sup> Я, право, опасаюсь за своё умение перед такою публикой.

<sup>3</sup> Фрейлина — девушка-дворянка, состоящая при особе царствующе-  
щего дома.

<sup>4</sup> Подождите, я возьму мою работу.

<sup>5</sup> Что же вы? О чём вы думаете? — принесите мой ридикюль. (Риди-  
кюль — дамская сумочка.)

<sup>6</sup> Милый Ипполит.

<sup>7</sup> Брюзгливость — постоянное недовольство, ворчливость.

— Ce n'est pas une histoire de revenants? <sup>1</sup> — сказал он, усевшись подле княгини и торопливо пристроив к глазам свой лорнет <sup>2</sup>, как будто без этого инструмента он не мог начать говорить.

— Mais non, mon cher <sup>3</sup>, — пожимая плечами, сказал удивлённый рассказчик.

— C'est que je déteste les histoires de revenants <sup>4</sup>, — сказал князь Ипполит таким тоном, что видно было, — он сказал эти слова, а потом уже понял, что они значили.

Из-за самоуверенности, с которою он говорил, никто не мог понять, очень ли умно или очень глупо то, что он сказал. Он был в тёмно-зелёном фраке, в панталонах цвета *cuisse de nymphe effravée* <sup>5</sup>, как он сам говорил, в чулках и башмаках. *Vicomte* <sup>6</sup> рассказал очень мило о том ходившем тогда анекдоте, что герцог Энгиенский тайно ездил в Париж для свидания с *mademoiselle George* <sup>7</sup>, и что там он встретился с Бонапарте, пользовавшимся тоже милостями знаменитой актрисы, и что там, встретившись с герцогом, Наполеон случайно упал в тот обморок, которому он был подвержен, и находился во власти герцога, которою герцог не воспользовался, но что Бонапарте впоследствии за это-то великодушие и отомстил смертью герцогу.

Рассказ был очень мил и интересен, особенно в том месте, где соперники вдруг узнают друг друга, и дамы, казалось, были в волнении.

— *Charmant* <sup>8</sup>, — сказала Анна Павловна, оглядываясь восторженно на маленькую княгиню.

— *Charmant*, — прошептала маленькая княгиня, втыкая иголку в работу, как будто в знак того, что интерес и прелесть рассказа мешают ей продолжать работу.

Виконт оценил эту молчаливую похвалу и, благодарно улыбнувшись, стал продолжать; но в это время Анна Павловна, всё поглядывавшая на страшного для неё молодого человека, заметила, что он что-то слишком горячо и громко говорит с аббатом, и поспешила на помощь к опасному месту. Действительно, Пьеру удалось завязать с аббатом разговор о политическом равновесии, и аббат, видимо заинтересованный простодушною горячностью молодого человека, развивал перед ним свою любимую идею. Оба слишком оживлённо и естественно слушали и говорили, и это-то не понравилось Анне Павловне.

---

<sup>1</sup> Это не история о привидениях?

<sup>2</sup> Лорнет — складные очки в оправе с ручкой.

<sup>3</sup> Вовсе нет, мой дорогой.

<sup>4</sup> Дело в том, что я терпеть не могу истории о привидениях.

<sup>5</sup> Тела испуганной нимфы.

<sup>6</sup> Виконт.

<sup>7</sup> Актрисой Жорж.

<sup>8</sup> Прелестно.

— Средство — европейское равновесие и *droit des gens*<sup>1</sup>, — говорил аббат. — Стоит одному могущественному государству, как Россия, прославленному за варварство, стать бескорыстно во главе союза, имеющего целью равновесие Европы, — и оно спасёт мир!

— Как же вы найдёте такое равновесие? — начал было Пьер; но в это время подошла Анна Павловна и, строго взглянув на Пьера, спросила итальянца о том, как он переносит здешний климат. Лицо итальянца вдруг изменилось и приняло оскорбительно притворно-сладкое выражение, которое, видимо, было пивычно ему в разговоре с женщинами.

— Я так очарован прелестями ума и образования общества, в особенности женского, в которое я имел счастье быть принят, что не успел ещё подумать о климате, — сказал он.

Не выпуская уже аббата и Пьера, Анна Павловна для удобства наблюдения присоединила их к общему кружку.

В это время в гостиную вошло новое лицо. Новое лицо это был молодой князь Андрей Болконский, муж маленькой княгини. Князь Болконский был небольшого роста, весьма красивый молодой человек с определёнными и сухими чертами. Всё в его фигуре, начиная с усталого, скучающего взгляда до тихого мерного шага, представляло самую резкую противоположность с его маленькою, оживлённою женой. Ему, видимо, все бывшие в гостиной не только были знакомы, но уж надоели ему так, что и смотреть на них и слушать их ему было очень скучно. Из всех же прискучивших ему лиц лицо его хорошенькой жены, казалось, больше всех ему надоело. С гримасой, портившею его красивое лицо, он отвернулся от неё. Он поцеловал руку Анны Павловны и, щурясь, оглядел всё общество.

— *Vous vous engagez pour la guerre, mon prince?*<sup>2</sup> — сказала Анна Павловна.

— *Le général Koutouzoff*, — сказал Болконский, ударяя на последнем слове *zoff*, как француз, — *a bien voulu de moi pour aide-de-camp*...<sup>3</sup>

— *Et Lise, votre femme?*<sup>4</sup>

— Она поедет в деревню.

— Как вам не грех лишать нас вашей прелестной жены?

— *André*<sup>5</sup>, — сказала его жена, обращаясь к мужу тем же кокетливым тоном, каким она обращалась и к посторонним, — какую историю нам рассказал виконт о m-lle Жорж и Бонапарте!

<sup>1</sup> Народное право.

<sup>2</sup> Вы собираетесь на войну, князь?

<sup>3</sup> Генералу Кутузову угодно меня к себе в адъютанты...

<sup>4</sup> А Лиза, ваша жена?

<sup>5</sup> Андрей.

Князь Андрей зажмурился и отвернулся. Пьер, со времени входа князя Андрея в гостиную не спускавший с него радостных, дружелюбных глаз, подошёл к нему и взял его за руку. Князь Андрей, не оглядываясь, сморщил лицо в гримасу, выразившую досаду на того, кто трогает его за руку, но, увидав улыбающуюся лицо Пьера, улыбнулся неожиданно-доброю и приятно улыбающей.

— Вот как!.. И ты в большом свете! — сказал он Пьеру.

— Я знал, что вы будете, — отвечал Пьер. — Я приеду к вам ужинать, — прибавил он тихо, чтобы не мешать виконту, который продолжал свой рассказ. — Можно?

— Нет, нельзя, — сказал князь Андрей смеясь, пожатием руки давая знать Пьеру, что этого не нужно спрашивать. Он что-то хотел сказать ещё, но в это время поднялся князь Василий с дочерью и мужчины встали, чтобы дать им дорогу.

— Вы меня извините, мой милый виконт, — сказал князь Василий французу, ласково притягивая его за рукав вниз к стулу, чтоб он не вставал. — Этот несчастный праздник у посланника лишает меня удовольствия и прерывает вас. Очень мне грустно покидать ваш восхитительный вечер, — сказал он Анне Павловне.

Дочь его, княжна Элен, слегка придерживая складки платья, пошла между стульев, и улыбка сияла ещё светлее на её прекрасном лице. Пьер смотрел почти испуганными, восторженными глазами на эту красавицу, когда она проходила мимо него.

— Очень хороша, — сказал князь Андрей.

— Очень, — сказал Пьер.

Проходя мимо, князь Василий схватил Пьера за руку и обратился к Анне Павловне.

— Образуйте мне этого медведя, — сказал он. — Вот он месяц живёт у меня, и в первый раз я его вижу в свете. Ничто так не нужно молодому человеку, как общество умных женщин.

## ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С НАТАШЕЙ

(Том I, часть первая, глава VIII.)

Наступило молчание. Графиня глядела на гостью, приятно улыбаясь, впрочем, не скрывая того, что не огорчится теперь ни-сколько, если гостя поднимается и уедет. Дочь госты уже оправляла платье, вопросительно глядя на мать, как вдруг из соседней комнаты послышался бег к двери нескольких мужских и женских ног, грохот зацепленного и поваленного стула, и в комнату вбежала тринадцатилетняя девочка, запахнув что-то короткою кисейною юбкою, и остановилась по середине комнаты. Очевидно было, она нечаянно, с нерассчитанного бега, за-скочила тад далеко. В дверях в ту же минуту показались сту-

дент с малиновым воротником, гвардейский офицер, пятнадцатилетняя девочка и толстый румяный мальчик в детской курточке.

Граф вскочил и, раскачиваясь, широко расставил руки вокруг вбежавшей девочки.

— А, вот она! — смеясь закричал он. — Именинница! Ma chère, именинница!

— Ma chère, il y a un temps pour tout<sup>1</sup>, — сказала графиня, притворяясь строгою. — Ты её всё балуешь, Elie, — прибавила она мужу.

— Bonjour, ma chère, je vous félicite<sup>2</sup>, — сказала гостья. — Quelle délicieuse enfant!<sup>3</sup> — прибавила она, обращаясь к матери.

Черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая девочка, с своими детскими открытыми плечиками, выскочившими из корсажа от быстрого бега, с своими сбившимися назад чёнрыми кудрями, тоненькими оголёнными руками и маленькими ножками в кружевных панталончиках и открытых башмачках, была в том милом возрасте, когда девочка уже не ребёнок, а ребёнок ещё не девушка. Вывернувшись от отца, она подбежала к матери и, не обращая никакого внимания на её строгое замечание, спрятала своё раскрасневшееся лицо в кружевах материной мантильи<sup>4</sup> и засмеялась. Она смеялась чему-то; толкуя отрывисто про куклу, которую вынула из-под юбочки.

— Видите? .. Кукла ... Мимí ... Видите.

И Наташа не могла больше говорить (ей всё смешно казалось). Она упала на мать и расхохоталась так громко и звонко, что все, даже чопорная<sup>5</sup> гостья, против воли засмеялись.

— Ну, поди, поди с своим уродом! — сказала мать, притворно сердито отталкивая дочь. — Это моя меньшая, — обратилась она к гостье.

Наташа, оторвав на минуту лицо от кружевной косынки матери, взглянула на неё снизу сквозь слёзы смеха и опять спрятала лицо.

Гостья, принуждённая любоваться семейною сценой, сочла нужным принять в ней какое-нибудь участие.

— Скажите, моя милая, — сказала она, обращаясь к Наташе, — как же вам приходится эта Мимí? Дочь, верно?

Наташе не понравился тон снисхождения до детского разговора, с которым гостья обратилась к ней. Она ничего не ответила и серьёзно посмотрела на гостью.

Между тем всё это молодое поколение: Борис — офицер, сын княгини Анны Михайловны, Николай — студент, старший сын

<sup>1</sup> Милая, на всё есть время.

<sup>2</sup> Здравствуйте, моя милая, поздравляю вас.

<sup>3</sup> Какое прелестное дитя!

<sup>4</sup> Мантилья — короткая, не доходящая до колен женская накидка без рукавов.

<sup>5</sup> Чопорная — чрезмерно строгая в поведении.

графа, Соня — пятнадцатилетняя племянница графа, и маленький Петруша — меньшей сын, — все разместились в гостиной и, видимо, старались удержать в границах приличия оживление и весёлость, которыми ещё дышала каждая их черта. Видно было, что там, в задних комнатах, откуда они все так стремительно прибежали, у них были разговоры веселее, чем здесь о городских сплетнях, погоде и comtesse Apraksine<sup>1</sup>. Изредка они взгляды-вали друг на друга и едва удерживались от смеха.

Два молодые человека, студент и офицер, друзья с детства, были одних лет и оба красивы, но не похожи друг на друга. Борис был высокий белокурый юноша с правильными тонкими чертами спокойного и красивого лица. Николай был невысокий курчавый молодой человек с открытым выражением лица. На верхней губе его уже показывались чёрные волосики, и во всём лице выражались стремительность и восторженность. Николай покраснел, как только вошёл в гостиную. Видно было, что он искал и не находил, что сказать; Борис, напротив, тотчас же нашёлся и рассказал спокойно, шутливо, как эту Мимí, куклу, он знал ещё молодой девичей с неиспорченным ещё носом, как она в пять лет на его памяти состарилась и как у неё по всему черепу треснула голова. Сказав это, он взглянул на Наташу. Наташа отвернулась от него, взглянув на младшего брата, который, зажмурившись, трясся от беззвучного смеха, и, не в силах более удерживаться, прыгнула и побежала из комнаты так скоро, как только могли нести её быстрые ножки. Борис не рассмеялся.

— Вы, кажется, тоже хотели ехать, татап? Карета нужна? — сказал он, с улыбкой обращаясь к матери.

— Да, поди, поди, вели приготовить, — сказала она, улыбаясь.

Борис вышел тихо в двери и пошёл за Наташей, толстый мальчик сердито побежал за ними, как будто досадуя на расстройство, происшедшее в его занятиях.

## НА АУСТЕРЛИЦКОМ ПОЛЕ

(Том I, часть третья, глава XIX.)

На Працёнской горе, на том самом месте, где он упал с древком знамени в руках, лежал князь Андрей Болконский, истекая кровью, и, сам не зная того, стонал тихим, жалостным и детским стоном.

К вечеру он перестал стонать и совершенно затих. Он не знал, как долго продолжалось его забытьё. Вдруг он опять почувствовал себя живым и страдающим от жгучей и разрывающей что-то боли в голове.

<sup>1</sup> Графине Апраксиной.

«Где оно, это высокое небо, которого я не знал до сих пор и увидел нынче?» — было первою его мыслью. «И страдания этого я не знал также, — подумал он. — Да, я ничего не знал до сих пор. Но где я?»

Он стал прислушиваться и услышал звуки приближающегося топота лошадей и звуки голосов, говоривших по-французски. Он раскрыл глаза. Над ним было опять всё то же высокое небо с ещё выше поднявшимися плывущими облаками, сквозь которые виднелась синеющая бесконечность. Он не поворачивал головы и не видал тех, которые, судя по звуку копыт и голосов, подъехали к нему и остановились.

Подъехавшие верховые были Наполеон, сопровождаемый двумя адъютантами. Бонапарте, объезжая поле сражения, отдавал последние приказания об усилении батарей, стреляющих по позиции Аугеста, и рассматривал убитых и раненых, оставшихся на поле сражения.

— *De beaux hommes!*<sup>1</sup> — сказал Наполеон, глядя на убитого русского гренадера, который с уткнутом в землю лицом и почернелым затылком лежал на животе, откинув далеко одну уже зачочневшую руку.

— *Les munitions des pièces de position sont épuisées, sire!*<sup>2</sup> — сказал в это время адъютант, приехавший с батареей, стрелявших по Аугесту.

— *Faites avancer celles de la réserve*<sup>3</sup>, — сказал Наполеон, и, отъехав несколько шагов, он остановился над князем Андреем, лежавшим навзничь с брошенным подле него древком знамени (знамя уже, как трофей, было взято французами).

— *Voilà une belle mort*<sup>4</sup>, — сказал Наполеон, глядя на Болконского.

Князь Андрей понял, что это было сказано о нём, и что говорит это Наполеон. Он слышал, как называли *sire*<sup>5</sup> того, кто сказал эти слова. Но он слышал эти слова, как бы он слышал жужжание мухи. Он не только не интересовался ими, но он не заметил, а тотчас же забыл их. Ему жгло голову; он чувствовал, что он исходит кровью, и он видел над собою далёкое, высокое и вечное небо. Он знал, что это был Наполеон — его герой, но в эту минуту Наполеон казался ему столь маленьким, ничтожным человеком в сравнении с тем, что происходило теперь между его душой и этим высоким, бесконечным небом с бегущими по нём облаками. Ему было совершенно всё равно в эту минуту, кто бы ни стоял над ним, что бы ни говорил о нём, он рад был только тому, что остановились над ним люди, и желал только, чтоб эти

<sup>1</sup> Славный народ!

<sup>2</sup> Батарейных зарядов больше нет, ваше величество!

<sup>3</sup> Велите привезти из резервов.

<sup>4</sup> Вот прекрасная смерть.

<sup>5</sup> Ваше величество.

люди помогли ему и возвратили бы его к жизни, которая казалась ему столь прекрасною, потому что он так иначе понимал её теперь. Он собрал все свои силы, чтобы пошевелиться и произвести какой-нибудь звук. Он слабо пошевелил ногою и произвёл самого его разжалобивший, слабый, болезненный стон.

— А! он жив, — сказал Наполеон. — Поднять этого молодого человека, *se jeune homme*, и снести на перевязочный пункт!

Сказав это, Наполеон поехал дальше навстречу к маршалу Ланну, который, сняв шляпу, улыбаясь и поздравляя с победой, подъезжал к императору.

Князь Андрей не помнил ничего дальше: он потерял сознание от страшной боли, которую причинили ему укладывание на носилки, толчки во время движения и sondирование раны на перевязочном пункте. Он очнулся уже только в конце дня, когда его, соединив с другими русскими ранеными и пленными офицерами, понесли в госпиталь. На этом передвижении он чувствовал себя несколько свежее и мог оглядываться и даже говорить.

Первые слова, которые он услышал, когда очнулся, — были слова французского конвойного офицера, который поспешно говорил:

— Надо здесь остановиться: император сейчас проедет; ему доставит удовольствие видеть этих пленных господ.

— Нынче так много пленных, чуть не вся русская армия, что ему, вероятно, это наскучило, — сказал другой офицер.

— Ну однако! Этот, говорят, командир всей гвардии императора Александра, — сказал первый, указывая на раненого русского офицера в белом кавалергардском мундире.

Болконский узнал князя Репнина, которого он встречал в петербургском свете. Рядом с ним стоял другой, 19-летний мальчик, тоже раненый кавалергардский офицер.

Бонапарте, подъехав галопом, остановил лошадь.

— Кто старший? — сказал он, увидев пленных.

Назвали полковника, князя Репнина.

— Вы командир кавалергардского полка императора Александра? — спросил Наполеон.

— Я командовал эскадроном, — отвечал Репин.

— Ваш полк честно исполнил долг свой, — сказал Наполеон.

— Похвала великого полководца есть лучшая награда солдату, — сказал Репнин.

— С удовольствием отдаю её вам, — сказал Наполеон. — Кто этот молодой человек подле вас?

Князь Репнин назвал поручика Сухтелена.

Посмотрев на него, Наполеон сказал, улыбаясь:

— *Il est venu bien jeune se froter à nous*<sup>1</sup>.

— Молодость не мешает быть храбрым, — проговорил обрывающимся голосом Сухтелен.

<sup>1</sup> Молод же он сунулся биться с нами.

— Прекрасный ответ, — сказал Наполеон. — Молодой человек, вы далеко пойдёте!

Князь Андрей, для полноты трофея пленников выставленный также вперёд, на глаза императору, не мог не привлечь его внимания. Наполеон, видимо, вспомнил, что он видел его на поле и, обращаясь к нему, употребил то самое наименование молодого человека — *jeune homme*, под которым Болконский в первый раз отразился в его памяти.

— *Et vous, jeune homme?* Ну, а вы, молодой человек? — обратился он к нему. — Как вы себя чувствуете, *mon brave?*

Несмотря на то, что за пять минут перед этим князь Андрей мог сказать несколько слов солдатам, переносившим его, он теперь, прямо устремив свои глаза на Наполеона, молчал... Ему так ничтожны казались в эту минуту все интересы, занимавшие Наполеона, так мелочен казался ему сам герой его, с этим мелким тщесланием и радостью победы, в сравнении с тем высоким, справедливым и добрым небом, которое он видел и понял, — что он не мог отвечать ему.

Носилки тронулись. При каждом толчке он опять чувствовал невыносимую боль; лихорадочное состояние усилилось, и он начинал бредить. Те мечтания об отце, жене, сестре и будущем сыне и нежность, которую он испытывал в ночь накануне сражения, фигура маленького, ничтожного Наполеона и над всем этим высокое небо составляли главное основание его горячечных представлений.

Тихая жизнь и спокойное семейное счастье в Лысых Горах представлялась ему. Он уже наслаждался этим счастьем, когда вдруг являлся маленький Наполеон с своим безучастным, ограниченным и счастливым от несчастий других взглядом, и начинались сомнения, муки, и только небо обещало успокоение. К утру все мечтания смешались и слились в хаос и мрак беспомыслия и забвения, которые гораздо вероятнее, по мнению самого Ларрея, доктора Наполеона, должны были разрешиться смертью, чем выздоровлением.

— *C'est un sujet nerveux et bilieux,* — сказал Ларрей, — *il n'en rechappera pas*<sup>1</sup>.

Князь Андрей, в числе других безнадёжных раненых, был сдан на попечение жителей.

## В ОТРАДНОМ

(Том II, часть третья, главы I, II, III.)

После тяжёлого ранения в Аустерлицком сражении Андрей, выздоровев, вернулся в Лысые Горы. Во время родов умерла жена Андрея — Лиза, оставив новорождённого сына. Болконский живёт в своём поместье Богучарове.

<sup>1</sup> Это субъект нервный и жёлчный, он не выздоровеет.

## Глава I.

Князь Андрей безвыездно прожил два года в деревне. Все те предприятия по имениям, которые затеял у себя Пьер и не довёл ни до какого результата, беспрестанно переходя от одного дела к другому, все эти предприятия, без выказыванья их кому бы то ни было и без заметного труда, были исполнены князем Андреем.

Он имел в высшей степени ту недостававшую Пьеру практическую цепкость, которая без размаха и усилий с его стороны давала движение делу.

Одно имение его в триста душ крестьян было перечислено в вольные хлебопашцы<sup>1</sup> (это был один из первых примеров в России), в других барщина заменена оброком. В Богучарово была выписана на его счёт учёная бабка для помощи родильницам, и священник за жалованье обучал детей крестьянских и дворовых грамоте.

## Глава II.

По опекунским делам рязанского имения князю Андрею надо было видеться с уездным предводителем<sup>2</sup>. Предводителем был граф Илья Андреевич Ростов, и князь Андрей в середине мая поехал к нему.

Был уже жаркий период весны. Лес уже весь оделся, была пыль и было так жарко, что, проезжая мимо воды, хотелось купаться.

Князь Андрей, невесёлый и озабоченный соображениями о том, что и что ему нужно о делах спросить, у предводителя, подъезжал по аллее сада к отраденскому дому Ростовых. Вправо из-за деревьев он услышал женский весёлый крик и увидел бегущую на перерез его коляски толпу девушек. Впереди других, ближе, подбегала к коляске черноволосая, очень тоненькая, странно-тоненькая, черноглазая девушка в жёлтом ситцевом платье, повязанная белым носовым платком, из-под которого выбивались пряди расчесавшихся волос. Девушка что-то кричала, но, узнав чужого, не взглянув на него, со смехом побежала назад.

Князю Андрею вдруг стало от чего-то больно. День был так хорош, солнце так ярко, кругом всё так весело; а эта тоненькая и хорошенькая девушка не знала и не хотела знать про его существование и была довольна и счастлива какою-то своею отдельной — верно глупою, — но весёлою и счастливою жизнью.

<sup>1</sup> Вольные хлебопашцы — отпущенные на волю крестьяне.

<sup>2</sup> Уездный предводитель — выборный представитель дворянства в уезде, заведовавший сословными делами дворянства.

«Чему она так рада? о чём она думает? Не об уставе военном, не об устройстве рязанских оброчных. О чём она думает? И чем она счастлива?» — невольно с любопытством спрашивал себя князь Андрей.

Граф Илья Андреевич в 1809 году жил в Отрадном всё так же, как и прежде, то есть принимая почти всю губернию, с охотами, театрами, обедами и музыкантами. Он, как всякому новому гостю, был рад князю Андрею и почти насильно оставил его ночевать.

В продолжение скучного дня, во время которого князя Андрея занимали старшие хозяева и почётнейшие из гостей, которыми по случаю приближающихся именин был полон дом старого графа, Болконский, несколько раз взглядывая на Наташу, чему-то смеявшуюся, велелившуюся между другою, молодою половиной общества, всё спрашивал себя: «О чём она думает? Чему она так рада!»

Вечером, оставшись один на новом месте, он долго не мог заснуть. Он читал, потом потушил свечу и опять зажгёт её. В комнате с закрытыми изнутри ставнями было жарко. Он досадовал на этого глупого старика (так он называл Ростова), который задержал его, уверяя, что нужные бумаги в городе, не доставлены ещё, досадовал на себя за то, что остался.

Князь Андрей встал и подошёл к окну, чтоб отворить его. Как только он открыл ставни, лунный свет, как будто он насто-роже у окна давно ждал этого, ворвался в комнату. Он отворил окно. Ночь была свежая и неподвижно-светлая. Перед самым окном был ряд подстриженных дерев, чёрных с одной и серебристо-освещённых с другой стороны. Под деревьями была какая-то сочная, мокрая, кудрявая растительность с серебристыми кое-где листьями и стеблями. Далее за чёрными деревьями была какая-то блестящая росой крыша, правее большое кудрявое дерево, с ярко-белым стволом и сучьями, и выше его почти полная луна на светлом, почти беззвёздном, весеннем небе. Князь Андрей облокотился на окно, и глаза его остановились на этом небе.

Комната князя Андрея была в среднем этаже; в комнатах над ним тоже жили и не спали. Он услышал сверху женский говор.

— Только ещё один раз, — сказал сверху женский голос, который сейчас узнал князь Андрей.

— Да когда же ты спать будешь? — отвечал другой голос.

— Я не буду, я не могу спать, что ж мне делать! Ну, последний раз...

Два женские голоса запели какую-то музыкальную фразу, составляющую конец чего-то.

— Ах, какая прелесть! Ну, теперь спать, и конец.

— Ты спи, а я не могу, — отвечал первый голос, приблизившийся к окну. Она, видимо, совсем высунулась в окно, потому что слышно было шуршанье её платья и даже дыханье. Всё затихло и окаменело, как и луна и её свет и тени. Князь Андрей тоже боялся пошевелиться, чтобы не выдать своего невольного присутствия.

— Соня! Соня! — послышался опять первый голос. — Ну, как можно спать! Да ты посмотри, что за прелесть! Ах, какая прелесть! Да проснись же, Соня, — сказала она почти со слезами в голосе. — Ведь эдакой прелестной ночи никогда, никогда не бывало.

Соня неохотно что-то отвечала.

— Нет, ты посмотри, что за луна!.. Ах, какая прелесть! Ты поди сюда. Душенька, голубушка, поди сюда. Ну, видишь? Так бы вот села на корточки, вот так, подхватила бы себя под колени, — туже, как можно туже, натужиться надо, — и полетела бы. Вот так!

— Полно, ты упадёшь.

Послышалась борьба и недовольный голос Сони.

— Ведь второй час.

— Ах, ты только всё портишь мне. Ну, иди, иди.

Опять всё смолкло, но князь Андрей знал, что она всё ещё сидит тут, он слышал иногда тихое шевеленье, иногда вздохи.

— Ах, боже мой! Боже мой! что ж это такое! — вдруг вскрикнула она. — Спать так спать! — и захлопнула окно.

«И дела нет до моего существования!» — подумал князь Андрей в то время, как он прислушивался к её говору, почему-то ожидая и боясь, что она скажет что-нибудь про него. «И опять она! И как нарочно!» — думал он. В душе его вдруг поднялась такая неожиданная путаница молодых мыслей и надежд, противоречащих всей его жизни, что он, чувствуя себя не в силах уяснить себе своё состояние, тотчас же заснул.

## ПЕРВЫЙ БАЛ

(Том II, часть третья, главы XIV, XV, XVI, XVII.)

### Глава XIV.

31 декабря, накануне нового, 1810 года, *le réveillon*<sup>1</sup>, был бал у екатерининского вельможи. На бале должен был быть дипломатический корпус и государь.

На Английской набережной светился бесчисленными огнями иллюминации известный дом вельможи. У освещённого подъезда

<sup>1</sup> Ночной ужин.

с красным сукном стояла полиция, и не одни жандармы, но и полицеймейстр на подъезде и десятки офицеров полиции. Экипажи отъезжали и всё подъезжали новые с красными лакеями и с лакеями в перьях на шляпах. Из карет выходили мужчины в мундирах, звёздах и лентах; дамы в атласе и горностаях осторожно сходили по шумно откладываемым подножкам и торопливо и беззвучно проходили по сукну подъезда.

Почти всякий раз, как подъезжал новый экипаж, в толпе пробегал шёпот и снимались шапки.

— Государь?.. Нет, министр... принц... посланник... Разве не видишь перья?.. — говорилось из толпы. Один из толпы, одетый лучше других, казалось, знал всех, и называл по имени знатнейших вельмож того времени.

Уже одна треть гостей приехала на этот бал, а у Ростовых, долженствующих быть на этом бале, ещё шли торопливые приготовления одеваний.

Много было толков и приготовлений для этого бала в семействе Ростовых, много страхов, что приглашение не будет получено, платье не будет готово, и не устроится всё так, как было нужно.

Наташа ехала на первый большой бал в своей жизни. Она в этот день встала в 8 часов утра и целый день находилась в лихорадочной тревоге и деятельности. Все силы её с самого утра были устремлены на то, чтоб они все: она, мама, Соня — были одеты как нельзя лучше. Соня и графиня поручились вполне ей. На графине должно было быть масака<sup>1</sup> бархатное платье, на них двух белые дымковые платья на розовых, шёлковых чехлах с розанами на корсаже<sup>2</sup>. Волосы должны были быть причёсаны à la gresque<sup>3</sup>.

Всё существенное уже было сделано: ноги, руки, шея, уши были уже особенно тщательно, по-бальному, вымыты, надушены и напудрены; обуты уже были шёлковые, ажурные чулки и белые атласные башмаки с бантиками; причёски были почти окончены. Соня кончала одеваться, графиня тоже; но Наташа, хлопотавшая за всех, отстала. Она ещё сидела перед зеркалом в накинутах на худенькие плечи пеньюаре. Соня, уже одетая, стояла посреди комнаты и, наживая до боли маленьким пальцем, прикалывала последнюю визжавшую под булавкой ленту.

— Не так, не так, Соня! — сказала Наташа, поворачивая голову от причёски и хватаясь руками за волосы, которые не успела отпустить державшая их горничная. — Не так бант, поди сюда. — Соня присела. Наташа переколола ленту иначе.

Окончив причёску, Наташа в коротенькой юбке, из-под которой виднелись бальные башмачки, и в материнской кофточке,

<sup>1</sup> Масака — тёмно-красный, иссиня-малиновый цвет.

<sup>2</sup> Корсаж — жёсткий пояс юбки.

<sup>3</sup> По-гречески.

подбежала к Соне, осмотрела её и потом побежала к матери. Поворачивая ей голову, она приколотла току и, едва успев поцеловать её седые волосы, опять побежала к девушкам, подшивавшим ей юбку.

Дело стояло за Наташиной юбкой, которая была слишком длинна; её подшивали две девушки, обкусывая торопливо нитки. Третья, с булавками в губах и зубах, бегала от графини к Соне; четвёртая держала на высоко поднятой руке всё дымковое платье.

Наташа стала надевать платье.

— Сейчас, сейчас, не ходи, папа, — крикнула она отцу, отворившему дверь, ещё из-под дымки юбки закрывавшей всё её лицо. Соня захлопнула дверь. Через минуту графа впустили. Он был в синем фраке, чулках и башмаках, надушенный и припомаженный.

— Ах, папа, ты как хорош, прелесть! — сказала Наташа, стоя посреди комнаты и расправляя складки дымки.

В это время застенчиво, тихими шагами, вошла графиня в своей токе и бархатном платье.

— Уу! моя красавица! — закричал граф, — лучше вас всех!.. Он хотел обнять её, но она краснея отстранилась, чтобы не измяться.

— Мама, больше на бок току, — проговорила Наташа. — Я переколю, — и бросилась вперёд, а девушки, подшивавшие, не успевшие за ней броситься, оторвали кусок дымки.

— Боже мой! Что ж это такое? Я ей богу не виновата...

— Ничего, заметаю, не видно будет, — говорила Дуняша.

— Красавица, краля-то моя! — сказала из-за двери вошедшая няня. — А Сонюшка-то, ну красавицы!..

## Глава XV.

Наташа с утра этого дня не имела ни минуты свободы, и ни разу не успела подумать о том, что предстоит ей.

В сыром, холодном воздухе, в тесноте и неполной темноте колыхающейся кареты, она в первый раз живо представила себе то, что ожидает её там, на бале, в освещённых залах — музыка, цветы, танцы, государь, вся блестящая молодёжь Петербурга. То, что её ожидало, было так прекрасно, что она не верила даже тому, что это будет: так это было несообразно с впечатлением холода, тесноты и темноты кареты. Она поняла всё то, что её ожидает, только тогда, когда, пройдя по красному сукну подъезда, она вошла в сени, сняла шубу и пошла рядом с Соней впереди матери между цветами по освещённой лестнице. Только тогда она вспомнила, как ей надо было себя держать на бале и постаралась принять ту величественную манеру, которую

она считала необходимою для девушки на бале. Но, к счастью её, она почувствовала, что глаза её разбежались: она ничего не видала ясно, пульс её забил сто раз в минуту, и кровь стала стучать у её сердца.

Она не могла принять той манеры, которая бы сделала её смешною, и шла, замирая от волнения и стараясь всеми силами только скрыть его. И это-то была та самая манера, которая более всего шла к ней. Впереди и сзади их, так же тихо переговариваясь и так же в бальных платьях, входили гости. Зеркала по лестнице отражали дам в белых, голубых, розовых платьях, с бриллиантами и жемчугами на открытых руках и шеях.

Наташа смотрела в зеркала и в отражении не могла отличить себя от других. Всё смешивалось в одну блестящую процессию. При входе в первую залу, равномерный гул голосов, шагов, приветствий оглушил Наташу; свет и блеск ещё более ослепил её. Хозяин и хозяйка, уже полчаса стоявшие у входной двери и говорившие одни и те же слова входившим: «*Charmé de vous voir*»<sup>1</sup>, — так же встретили и Ростовых с Перонской.

Две девочки в белых платьях, с одинаковыми розами в чёрных волосах, одинаково присели, но невольно хозяйка остановилась дольше свой взгляд на тоненькой Наташе. Она посмотрела на неё, и ей одной особенно улыбнулась в придачу к своей хозяйской улыбке. Глядя на неё, хозяйка вспомнила, может быть, и своё золотое невозвратное девичье время, и свой первый бал. Хозяин тоже проводил глазами Наташу и спросил у графа, которая дочь?

— *Charmante!*<sup>2</sup> — сказал он, поцеловав кончики своих пальцев.

В зале стояли гости, теснясь у входной двери, ожидая господаря. Графиня поместилась в первых рядах этой толпы. Наташа слышала и чувствовала, что несколько голосов спросили про неё и смотрели на неё. Она поняла, что она понравилась тем, которые обратили на неё внимание, и это наблюдение несколько успокоило её.

«Есть такие же, как и мы, есть и хуже нас», — подумала она.

Перонская называла графине самых значительных лиц, бывших на бале.

— Вот это голландский посланник, видите, седой, — говорила Перонская, указывая на старичка с серебряною сединой курчавых, обильных волос, окружённого дамами, которых он чему-то заставлял смеяться.

— А вот она, царица Петербурга, графиня Безухова, — говорила она, указывая на входившую Элен.

— Как хороша! Не уступит Марье Антоновне; смотрите, как за ней увиваются молодые и старые. И хороша, и умна...

<sup>1</sup> «Очень, очень рады вас видеть»,

<sup>2</sup> Прелесть!

Говорят принц... без ума от неё. А вот эти две, хоть и нехороши, да ещё больше окружены.

Она указала на проходивших через залу даму с очень некрасивою дочерью.

— Это миллионерка-невеста, — сказала Перонская. — А вот и женихи.

— Это брат Безуховой — Анатолий Курагин, — сказала она, указывая на красавца кавалергарда, который прошёл мимо их, с высоты поднятой головы через дам глядя куда-то. — Как хорош! неправда ли? Говорят, женят его на этой богатой. И ваш-то cousin, Друбецкой, тоже очень увивается. Говорят, миллионы... Как же, это сам французский посланник, — отвечала она о Коленкуре на вопрос графини, кто это. — Посмотрите, как царь какой-нибудь. А всё-таки милы, очень милы французы. Нет милей для общества. А вот и она! Нет, всё лучше всех наша Марья-то Антоновна! И как просто одета. Прелесть!

— А этот-то, толстый, в очках, фармазон всемирный, — сказала Перонская, указывая на Безухова. — С женою-то его рядом поставьте: то-то шут гороховый!

Пьер шёл, переваливаясь своим толстым телом, раздвигая толпу, кивая направо и налево так же небрежно и добродушно, как бы он шёл по толпе базара. Он продвигался через толпу, очевидно отыскивая кого-то.

Наташа с радостью смотрела на знакомое лицо Пьера, этого шута горохового, как называла его Перонская, и знала, что Пьер их, и в особенности её, отыскивал в толпе. Пьер обещал ей быть на бале и представить ей кавалеров.

Но, не дойдя до них, Безухов остановился подле невысокого, очень красивого брюнета в белом мундире, который, стоя у окна, разговаривал с каким-то высоким мужчиной в звёздах и ленте. Наташа тотчас же узнала невысокого молодого человека в белом мундире: это был Болконский, который показался ей очень помолодевшим, повеселевшим и похорошевшим.

— Вот ещё знакомый, Болконский, видите, мама? — сказала Наташа, указывая на князя Андрея. — Помните, он у нас ночевал в Отрадном.

— А, вы его знаете? — сказала Перонская. — Терпеть не могу. Il fait à présent la pluie et le beau temps<sup>1</sup>. И гордость такая, что границ нет! По папеньке пошёл. И связался с Сперанским<sup>2</sup>, какие-то проекты пишут. Смотрите, как с дамами обращается! Она с ним говорит, а он отвернулся, — сказала она, указывая на него. — Я бы его отделала, если б он со мной так поступил, как с этими дамами.

<sup>1</sup> По нём теперь все с ума сходят.

<sup>2</sup> Сперанский — государственный деятель при Александре I.

Вдруг всё зашевелилось, толпа заговорила, подвинулась, опять раздвинулась, и между двух расступившихся рядов, при звуках заигравшей музыки, вошёл государь. За ним шли хозяин и хозяйка. Государь шёл быстро, кланяясь направо и налево, как бы стараясь скорее избавиться от этой первой минуты встречи. Музыканты играли польский, известный тогда по словам, сочинённым на него. Слова эти начинались: «Александр, Елизавета, восхищаете вы нас». Государь прошёл в гостиную, толпа хлынула к дверям; несколько лиц с изменившимися выражениями поспешно прошли туда и назад. Толпа опять отхлынула от дверей гостиной, в которой показался государь, разговаривая с хозяйкой. Какой-то молодой человек с растерянным видом наступал на дам, прося их посторониться. Некоторые дамы с лицами, выразившими совершенную забывчивость всех условий света, портя свои туалеты, теснились вперёд. Мужчины стали подходить к дамам и строиться в пары польского.

Всё расступилось, и государь, улыбаясь и не в такт ведя за руку хозяйку дома, вышел из дверей гостиной. За ним шли хозяин с М. А. Нарышкиной, потом посланники, министры, разные генералы, которых не умолкая называла Перонская. Больше половины дам имели кавалеров и шли или приготовлялись идти в польский. Наташа чувствовала, что она оставалась с матерью и Соней в числе меньшей части дам, отеснённых к стене и не взятых в польский. Она стояла, опустив свои тоненькие руки, и с мерно поднимающеюся, чуть определённою грудью, сдерживая дыхание, блестящими, испуганными глазами глядела перед собой, с выражением готовности на величайшую радость и на величайшее горе. Её не занимали ни государь, ни все важные лица, на которых указывала Перонская — у ней была одна мысль: «Неужели так никто не подойдёт ко мне, неужели я не буду танцевать между первыми, неужели меня не заметят все эти мужчины, которые теперь, кажется, и не видят меня, а ежели смотрят на меня, то смотрят с таким выражением, как будто говорят: А! это не она, так и нечего смотреть. Нет, это не может быть!» — думала она. — «Они должны же знать, как мне хочется танцевать, как я отлично танцую, и как им весело будет танцевать со мною».

Звуки польского, продолжавшегося довольно долго, уж начали звучать грустно — воспоминанием в ушах Наташи. Ей хотелось плакать. Перонская отошла от них. Граф был на другом конце зала, графиня, Соня и она стояли одни, как в лесу, в этой чуждой толпе, никому не интересные и не нужные. Князь Андрей пошёл с какою-то дамой мимо них, очевидно их не узнавая. Красавец Анатолий, улыбаясь, что-то говорил даме, которую он вёл, и взглянув на лицо Наташи тем взглядом, каким

глядят на стены. Борис два раза прошёл мимо них и всякий раз отворачивался. Берг с женою, не танцевавшие, подошли к ним.

Наташе показалось оскорбительно это семейное сближение здесь, на бале, как будто не было другого места для семейных разговоров, кроме как на бале. Она не слушала и не смотрела на Веру, что-то говорившую ей про своё зелёное платье.

Наконец государь остановился подле своей последней дамы (он танцевал с тремя), музыка замолкла; озабоченный адъютант набежал на Ростовых, прося их ещё куда-то посторониться, хотя они стояли у стены, и с хор раздались отчётливые, осторожные и увлекательно-мерные звуки вальса. Государь с улыбкой взглянул на залу. Прошла минута — никто ещё не начал. Адъютант-распорядитель подошёл к графине Безуховой и пригласил её. Она, улыбаясь, подняла руку и положила её, не глядя на него, на плечо адъютанта. Адъютант-распорядитель, мастер своего дела, уверенно, неторопливо и мерно, крепко обняв свою даму, пустился с ней сначала глиссадом<sup>1</sup>, по краю круга, на углу залы подхватил её левую руку, повернул её, и из-за всё убыстряющихся звуков музыки слышны были только мерные щелчки шпор быстрых и ловких ног адъютанта, и через каждые три такта на повороте как бы вспыхивало развеваясь бархатное платье его дамы. Наташа смотрела на них и готова была плакать, что это не она танцует этот первый тур вальса.

Князь Андрей в своем полковничьем, белом (по кавалерии) мундире, в чулках и башмаках, оживлённый и весёлый, стоял в первых рядах круга недалеко от Ростовых.

Пьер подошёл к князю Андрею и схватил его за руку.

— Вы всегда танцуете. Тут есть моя protégée, Ростова молодая, пригласите её, — сказал он.

— Где? — спросил Болконский. — Виноват, — сказал он, обращаясь к барону, — этот разговор мы в другом месте доведём до конца, а на бале надо танцевать. — Он вышел вперёд, по направлению, которое ему указывал Пьер. Отчаянное, замирающее лицо Наташи бросилось в глаза князю Андрею. Он узнал её, угадал её чувство, понял, что она была начинающая, вспомнил её разговор на окне и с весёлым выражением лица подошёл к графине Ростовой.

— Позвольте вас познакомить с моею дочерью, — сказала графиня краснея.

— Я имею удовольствие быть знакомым, ежели графиня помнит меня, — сказал князь Андрей с учтивым и низким поклоном, совершенно противоречащим замечаниям Перонской о его грубости, подходя к Наташе и занося руку, чтоб обнять её талию ещё прежде, чем он договорил приглашение на танец. Он предложил тур вальса. То замирающее выражение лица Ната-

---

<sup>1</sup> Глиссадом — скользя.

ши, готовое на отчаяние и на восторг, вдруг осветилось счастливою, благодарною, детскою улыбкой.

«Давно я ждала тебя», — как будто сказала эта испуганная и счастливая девочка своею проявившеюся из-за готовых слёз улыбкой, поднимая свою руку на плечо князя Андрея. Они были вторая пара, вошедшая в круг. Князь Андрей был одним из лучших танцоров своего времени. Наташа танцевала превосходно. Ножки её в бальных атласных башмачках быстро, легко и независимо от неё делали своё дело, а лицо её сияло восторгом счастья. Её оголённые шея и руки были худы и некрасивы. В сравнении с плечами Элен, её плечи были худы, грудь неопределённая, руки тонки; но на Элен был уже как будто лак от всех тысяч взглядов, скользивших по её телу, а Наташа казалась девочкой, которую в первый раз оголили и которой бы очень стыдно это было, ежели бы её не уверили, что это так необходимо надо.

Князь Андрей любил танцевать и, желая поскорее отделаться от политических и умных разговоров, с которыми все обращались к нему, и желая поскорее разорвать этот досадный ему круг смущения, образовавшегося от присутствия государя, пошел танцевать и выбрал Наташу, потому что на неё указал ему Пьер и потому, что она первая из хорошеньких женщин попала ему на глаза; но едва он обнял этот тонкий, подвижный стан и она зашевелилась так близко от него и улыбнулась так близко ему, вино её прелести ударило ему в голову: он почувствовал себя ожившим и помолодевшим, когда, переводя дыхание и оставив её, остановился и стал глядеть на танцующих.

## Глава XVII.

После князя Андрея к Наташе подошёл Борис, приглашая её на танцы, подошёл и тот танцор адъютант, начавший бал, и ещё молодые люди, и Наташа, передавая своих излишних кавалеров Соне, счастливая и раскрасневшаяся, не переставала танцевать целый вечер. Она ничего не заметила и не видела из того, что занимало всех на этом бале. Она не только не заметила, как государь долго говорил с французским посланником, как он особенно милостливо говорил с такою-то дамой, как принц такой-то и такой-то сделали и сказали то-то, как Элен имела большой успех и удостоилась особенного внимания такого-то; она не видела даже государя и заметила, что он уехал, только потому, что после его отъезда бал более оживился. Один из весёлых котильонов<sup>1</sup>, перед ужином, князь Андрей опять танцевал с Наташей. Он напомнил ей о их первом свиданье в отраденской аллее и о том, как она не могла заснуть в лунную ночь и как он

<sup>1</sup> Котильон — французский танец.

неволью слышал её. Наташа покраснела при этом напоминании и старалась оправдаться, как будто было что-то стыдное в том чувстве, в котором неволью подслушал её князь Андрей.

Князь Андрей, как все люди, выросшие в свете, любил встречать в свете то, что не имело на себе общего светского отпечатка. И такова была Наташа, с её удивлением, радостью и робостью и даже ошибками во французском языке. Он особенно нежно и бережно обращался и говорил с нею. Сидя подле неё, разговаривая с нею о самых простых и ничтожных предметах, князь Андрей любовался на радостный блеск её глаз и улыбки, относившейся не к говоренным речам, а к её внутреннему счастью. В то время, как Наташу выбирали и она с улыбкой вставала и танцевала по зале, князь Андрей любовался в особенности на её робкую грацию. В середине котильона Наташа, окончив фигуру, ещё тяжело дыша, подходила к своему месту. Новый кавалер опять пригласил её. Она устала и запыхалась и, видимо, подумала отказаться, но тотчас опять весело подняла руку на плечо кавалера и улыбнулась князю Андрею.

«Я бы рада была отдохнуть и посидеть с вами, я устала; но вы видите, как меня выбирают, и я этому рада, и я счастлива, и я всех люблю, и мы с вами всё это понимаем», — и ещё многое и многое сказала эта улыбка. Когда кавалер оставил её, Наташа побежала через залу, чтобы взять двух дам для фигур.

«Ежели она подойдёт прежде к своей кухне, а потом к другой даме, то она будет моею женой», — сказал совершенно неожиданно сам себе князь Андрей, глядя на неё. Она подошла прежде к кухне.

«Какой вздор иногда приходит в голову! — подумал князь Андрей. — Но верно только то, что эта девушка так мила, так особенна, что она не протанцует здесь месяца и выйдет замуж... Это здесь редкость», — думал он, когда Наташа, поправляя откинувшуюся у корсажа розу, усаживалась подле него.

В конце котильона старый граф подошёл в своём синем фраке к танцующим. Он пригласил к себе князя Андрея и спросил у дочери, весело ли ей? Наташа не ответила и только улыбнулась такою улыбкой, которая с упрёком говорила: «как можно было спрашивать об этом?»

— Так весело, как никогда в жизни! — сказала она, и князь Андрей заметил, как быстро поднялись было её худые руки, чтобы обнять отца, и тотчас же опустились. Наташа была так счастлива, как никогда ещё в жизни. Она была на той высшей ступени счастья, когда человек делается вполне добр и хорош и не верит в возможность зла, несчастия и горя.

Глава XV.

Приняв командование над армиями, Кутузов вспомнил о князе Андрее и послал ему приказание прибыть в главную квартиру.

Князь Андрей приехал в Царёво-Займище в тот самый день и в то самое время дня, когда Кутузов делал первый осмотр войскам. Князь Андрей остановился в деревне у дома священника, у которого стоял экипаж главнокомандующего, и сел на лавочке у ворот, ожидая светлейшего<sup>1</sup>, как все называли теперь Кутузова. На поле за деревней слышны были то звуки полковой музыки, то рёв огромного количества голосов, кричавших «ура!» новому главнокомандующему. Тут же у ворот, шагах в 10 от князя Андрея, пользуясь отсутствием князя и прекрасною погодой, стояли два денщика, курьер и дворецкий<sup>2</sup>. Черноватый, обросший усами и бакенбардами, маленький гусарский подполковник подъехал к воротам и, взглянув на князя Андрея, спросил: здесь ли стоит светлейший и скоро ли он будет?

Князь Андрей сказал, что он не принадлежит к штабу светлейшего и тоже приезжий. Гусарский подполковник обратился к нарядному денщику, и денщик главнокомандующего сказал ему с тою особенною презрительностью, с которою говорят денщики главнокомандующих с офицерами:

— Что светлейший? Должно быть, сейчас будет? Вам что?

Гусарский подполковник усмехнулся в усы на тон денщика, слез с лошади, отдал её вестовому<sup>3</sup> и подошёл к Болконскому, слегка поклонившись ему. Болконский посторонился на лавке. Гусарский подполковник сел подле него.

— Тоже дожидаетесь главнокомандующего? — заговорил гусарский подполковник. — Говорят всем доступен, слава богу. А то с колбасниками<sup>4</sup> беда! Недаром Ермолов<sup>5</sup> в немцы просился. Теперь, авось, с русским говорить можно будет. А то чёрт знает, что делали. Всё отступали — всё отступали. Вы делали поход? — спросил он.

— Имел удовольствие, — отвечал князь Андрей, — не только участвовать в отступлении, но и терять в этом отступлении всё, что имел дорогого, не говоря об имениях и родном доме... отца, который умер с горя. Я смоленский.

<sup>1</sup> Светлейший — высший княжеский титул.

<sup>2</sup> Дворецкий — старший лакей, заведовавший домашним хозяйством и домашней прислугой.

<sup>3</sup> Вестовой — рядовой для посылки по делам службы.

<sup>4</sup> Колбасники — бранная кличка немцев.

<sup>5</sup> Ермолов — генерал, участник Отечественной войны 1812 года.

— А?.. Вы князь Болконский? Очень рад познакомиться: подполковник Денисов, более известный под именем Васьки, — сказал Денисов, пожимая руку князя Андрея и с особенно добрым вниманием вглядываясь в лицо Болконского. — Да, я слышал, — сказал он с сочувствием и, помолчав немного, продолжал: — Вот и скифская война<sup>1</sup>. Это всё хорошо, только не для тех, кто своими боками отдувался. А вы князь Андрей Болконский? — Он покачал головой. — Очень рад, князь, очень рад познакомиться, — прибавил он опять с грустною улыбкой, пожимая ему руку.

Князь Андрей знал Денисова по рассказам Наташи о её первом женихе. Это воспоминание и сладко и больно перенесло его теперь к тем болезненным ощущениям, о которых он последнее время давно уже не думал, но которые всё-таки были в его душе. В последнее время столько других и таких серьёзных впечатлений, как оставление Смоленска, его приезд в Лысье Горы, недавнее известие о смерти отца, — столько ощущений было испытано им, что эти воспоминания уже давно не приходили ему, и когда пришли, далеко не подействовали на него с прежнею силой. И для Денисова тот ряд воспоминаний, которые вызвало имя Болконского, было далёкое, поэтическое прошедшее, когда он, после ужина и пения Наташи, сам не зная как, сделал предложение пятнадцатилетней девочке. Он улыбнулся воспоминаниям того времени и своей любви к Наташе и тотчас же перешёл к тому, что страстно и исключительно теперь занимало его. Это был план кампании, который он придумал, служа во время отступления на аванпостах<sup>2</sup>. Он представлял этот план Барклаю де Толли и теперь намерен был представить его Кутузову. План основывался на том, что операционная линия французов слишком растянута и что вместо того или вместе с тем, чтобы действовать с фронта, загоразивая дорогу французам, нужно было действовать на их сообщения. Он начал разъяснять свой план князю Андрею.

— Они не могут удержать всей этой линии. Это невозможно, я отвечаю, что прорву их, дайте мне 500 человек, я разорву их, это верно! Одна система — партизанская.

Денисов встал и, делая жесты, излагал свой план Болконскому. В середине его изложения крики армии, более нескладные, более распространённые и сливающиеся с музыкой и песнями, слышались на месте смотра. На деревне слышался топот и крики.

— Сам едет, — крикнул казак, стоявший у ворот, — едет! — Болконский и Денисов подвинулись к воротам, у которых стояла

---

<sup>1</sup> Скифская война — война со скифами и кочевыми племенами, жившими за несколько веков до нашей эры.

<sup>2</sup> Аванпост — сторожевой отряд, выставляемый впереди войска; передовая позиция.

кучка солдат (почётный караул) и увидели подвигавшегося по улице Кутузова, верхом на невысокой гнедой лошадке. Огромная свита генералов ехала за ним. Барклай ехал почти рядом; толпа офицеров бежала за ними и вокруг них и кричала «ура!»

Вперёд его во двор проскакали адъютанты. Кутузов, нетерпеливо подталкивая свою лошадь, плывшую иноходью<sup>1</sup> под его тяжестью, и беспрестанно кивая головой, прикладывал руку к белой кавалергардской (с красным околышком и без козырька) фуражке, которая была на нём. Подъехав к почётному караулу молодцов-гренадеров, большею частью кавалеров, отдававших ему честь, он с минуту молча, внимательно посмотрел на них начальническим упорным взглядом и обернулся к толпе генералов и офицеров, стоявших вокруг него. Лицо его вдруг приняло тонкое выражение; он вздёрнул плечами с жестом недоумения.

— И с такими молодцами всё отступать и отступать! — сказал он. — Ну, до свиданья, генерал, — прибавил он и тронул лошадь в ворота мимо князя Андрея и Денисова.

— Ура! Ура! Ура! — кричали сзади его.

С тех пор, как не видал его князь Андрей, Кутузов ещё потолстел, обрюзг и оплыл жиром. Но знакомые ему белый глаз и рана, и выражение усталости в его лице и фигуре были те же. Он был одет в миндирный сюртук (плеть на тонком ремне висела через плечо) и, тяжело расплываясь и раскачиваясь, сидел на своей бодрой лошадке.

— Фю... фю... фю... — засвистал он чуть слышно, въезжая на двор. На лице его выражалась радость успокоения человека, намеревающегося отдохнуть после представительства. Он вынул левую ногу из стремени, повалившись всем телом и поморщившись от усилия, с трудом занёс её на седло, облокотился коленкой, крикнул и спустился на руки к казакам и адъютантам, поддерживавшим его.

Он оправился, оглянулся своими сощуренными глазами и, взглянув на князя Андрея, видимо не узнав его, зашагал своею ныряющею походкой к крыльцу.

— Фю... фю... фю, — просвистал он и опять оглянулся на князя Андрея. Впечатление лица князя Андрея, только после нескольких секунд (как это часто бывает у стариков), связалось с воспоминанием о его личности.

— А здравствуй, князь, здравствуй, голубчик, пойдём... — устало проговорил он, оглядываясь, и тяжело вошёл на скрипящее под его тяжестью крыльцо. Он расстегнулся и сел на лавочку, стоявшую на крыльце.

— Ну, что отец?

— Вчера получил известие о его кончине, — коротко сказал князь Андрей.

---

<sup>1</sup> Иноходь — особый шаг лошади, при котором лошадь одновременно выносит сначала обе правые ноги, а затем обе левые.

Кутузов испуганно-открытыми глазами посмотрел на князя Андрея, потом снял фуражку и перекрестился. «Царство ему небесное! Да будет воля божия над всеми нами!» Он тяжело, всею грудью вздохнул и помолчал. «Я его любил и уважал и сочувствую тебе всею душой». Он обнял князя Андрея, прижал его к своей жирной груди и долго не отпускал от себя. Когда он отпустил его, князь Андрей увидел, что расплывшие губы Кутузова дрожали и на глазах были слёзы. Он вздохнул и взялся обеими руками за лавку, чтобы встать.

— Пойдём, пойдём ко мне, поговорим, — сказал он; но в это время Денисов, так же мало робевший перед начальством, как и перед неприятелем, несмотря на то, что адъютанты у крыльца сердитым шёпотом останавливали его, смело, стуча шпорами по ступенькам, вошёл на крыльцо. Кутузов, оставив руки упёртыми на лавку, недовольно смотрел на Денисова. Денисов, назвав себя, объявил, что имеет сообщить его светлости дело большой важности для блага отечества. Кутузов усталым взглядом стал смотреть на Денисова и досадливым жестом, приняв руки и сложив их на животе, повторил: «Для блага отечества? Ну что такое? Говори». Денисов покраснел, как девушка (так странно было видеть краску на этом усатом, старом и пьяном лице) и смело начал излагать свой план разрезания операционной линии неприятеля между Смоленским и Вязьмой. Денисов жил в этих краях и знал хорошо местность. План его казался несомненно хорошим, в особенности по той силе убеждения, которая была в его словах. Кутузов смотрел себе на ноги и изредка оглядывался на двор соседней избы, как будто он ждал чего-то неприятного оттуда. Из избы, на которую он смотрел, действительно во время речи Денисова, показался генерал с портфелем под мышкой.

— Что? — в середине изложения Денисова проговорил Кутузов, — уже готовы?

— Готов, ваша светлость, — сказал генерал. Кутузов покачал головой, как бы говоря: «как это всё успеть одному человеку», и продолжал слушать Денисова.

— Даю честное благородное слово русского офицера, — говорил Денисов, — что я разорву сообщения Наполеона.

— Тебе Кирилл Андреевич Денисов, обер-интендант, как приходится? — перебил его Кутузов.

— Дядя родной, ваша светлость.

— О! приятели были, — весело сказал Кутузов. — Хорошо, хорошо, голубчик, оставайся тут при штабе, завтра поговорим. — Кивнув головой Денисову, он отвернулся и протянул руку к бумагам, которые принёс ему Коновницын.

— Не угодно ли вашей светлости пожаловать в комнаты, — недовольным голосом сказал дежурный генерал, — необходимо рассмотреть планы и подписать некоторые бумаги. — Вышед-

ший из двери адъютант доложил, что в квартире всё было готово. Но Кутузову, видимо, хотелось войти в комнаты уже свободным. Он поморщился.

— Нет, вели подать, голубчик, сюда столик, я тут посмотрю, — сказал он. — Ты не уходи, — прибавил он, обращаясь к князю Андрею. Князь Андрей остался на крыльце, слушая дежурного генерала.

Кутузов слушал доклад дежурного генерала (главным предметом которого была критика позиции при Царёве-Займище) так же, как он слушал Денисова, так же, как он слушал семь лет тому назад прения Аустерлицкого военного совета. Он, очевидно, слушал только оттого, что у него были уши, которые, несмотря на то что в одном из них был морской канат, не могли не слышать; но очевидно было, что ничто из того, что мог сказать ему дежурный генерал, не могло не только удивить или заинтересовать его, но что он знал вперёд всё, что ему скажут; и слушал всё это только потому, что надо прослушать, как надо прослушать поющийся молебен. Всё, что говорил Денисов, было дельно и умно. То, что говорил дежурный генерал, было ещё дельнее и умнее, но очевидно было, что Кутузов презирал и звание и ум и знал что-то другое, что должно было решить дело, — что-то другое, независимое от ума и знания. Очевидно было, что Кутузов презирал ум и знание и даже патриотическое чувство, которое высказывал Денисов, но презирал не умом, не чувством, не знанием (потому что он и не старался высказывать их), а он презирал их чем-то другим. Он презирал их своей старостью, своею опытностью жизни. Одно распоряжение, которое от себя в этот доклад сделал Кутузов, относилось до мародёрства<sup>1</sup> русских войск. Дежурный генерал в конце доклада представил светлейшему к подписи бумагу о взыскании с армейских начальников по прошению помещика за скошенный зелёный овёс.

Кутузов зачмокал губами и закачал головой, выслушав это дело.

— В печку... в гонь! И раз навсегда тебе говорю, голубчик, — сказал он, — все эти дела в огонь. Пускай косят хлеба и жгут дрова на здоровье. Я этого не приказываю и не позволяю, но и взыскивать не могу. Без этого нельзя. Дрова рубят — щепки летят. — Он взглянул ещё раз на бумагу. — О, аккуратность немецкая! — проговорил он, качая головой.

---

<sup>1</sup> Мародёрство — грабёж убитых, раненых и населения во время войны.

— Ну, теперь всё, — сказал Кутузов, подписывая последнюю бумагу и, тяжело поднявшись и расправляя складки своей белой пухлой шеи, с повеселевшим лицом направился к двери.

— Ну, садись, садись тут, поговорим, — сказал Кутузов. — Грустно, очень грустно. Но помни, дружок, что я тебе отец, другой отец... — Князь Андрей рассказал Кутузову всё, что он знал о кончине своего отца, и о том, что он видел в Лысых Горах, проезжая через них.

— До чего... до чего довели! — проговорил вдруг Кутузов, взволнованным голосом, очевидно ясно представив себе, из рассказа князя Андрея, положение, в котором находилась Россия. — Дай срок, дай срок, — прибавил он с злобным выражением лица и, очевидно, не желая продолжать этого волновавшего его разговора, сказал: — Я тебя вызвал, чтоб оставить при себе.

— Благодарю вашу светлость, — отвечал князь Андрей, — но я боюсь, что не гожусь больше для штаба, — сказал он с улыбкой, которую Кутузов заметил. Кутузов вопросительно посмотрел на него. — А главное, — прибавил князь Андрей, — я привык к полку, полюбил офицеров, и люди меня, кажется, полюбили. Мне бы жалко было оставить полк. Ежели я отказываюсь от чести быть при вас, то поверьте...

Умное, доброе и вместе с тем тонко-насмешливое выражение светилось на пухлом лице Кутузова. Он перебил Болконского.

— Жалею, ты бы мне нужен был; но ты прав, ты прав. Нам не сюда люди нужны. Советчиков всегда много, а людей нет. Не такие бы полки были, если бы все советчики служили там в полках, как ты. Я тебя с Аустерлица помню... Помню, помню с знаменем помню, — сказал Кутузов, и радостная краска бросилась в лицо князя Андрея при этом воспоминании. Кутузов притянул его за руку, подставляя ему щеку, и опять князь Андрей на глазах старика увидел слёзы. Хотя князь Андрей и знал, что Кутузов был слаб на слёзы и что он особенно ласкает его и жалеет, вследствие желанья высказать сочувствие к его потере, но князю Андрею и радостно и лестно было это воспоминание об Аустерлице.

— Иди с богом своею дорогой. Я знаю, твоя дорога, — это дорога чести. — Он помолчал. — Я жалел о тебе в Букареште; мне послать надо было. — И, переменив разговор, Кутузов начал говорить о турецкой войне и заключённом мире. — Да, немало упрекали меня, — сказал Кутузов, — и за войну и за мир... а всё пришло вовремя. *Tout vient à point à celui qui sait*

<sup>1</sup> Рыцари Лебеда.

<sup>2</sup> Мадам де Жанлис.

attendre<sup>1</sup>. А и там советчиков не меньше было, чем здесь... — продолжал он, возвращаясь к советчикам, которые, видимо, занимали его. — Ох советчики, советчики! — сказал он. — Если бы всех слушать, мы бы там в Турции и мира не заключили, да и войны бы не кончили. Всё поскорее, а скорое на долгое выходит. Если бы Каменский<sup>2</sup> не умер, он бы пропал. Он с тридцатью тысячами штурмовал крепости. Взять крепость нетрудно, трудно кампанию выиграть. А для этого не нужно штурмовать и атаковать, а нужно *терпение и время*. Каменский на Русшук<sup>3</sup> солдат послал, а я их одних (терпение и время) посылал и взял больше крепостей, чем Каменский, и лошадиное мясо турок есть заставил. — Он покачал головой. — И французы тоже будут! Верь моему слову, — воодушевляясь проговорил Кутузов, ударя себя в грудь: — будут у меня лошадиное мясо есть! — И опять глаза его залоснились слезами.

— Однако должно же будет принять сражение? — сказал князь Андрей.

— Должно будет, если все этого захотят, нечего делать... А верь, голубчик: нет сильнее тех двух воинов, терпение и время; те всё сделают, да советчики *n'entendent pas de cette oreille, voilà le mal*<sup>4</sup>. Одни хотят, другие не хотят. Что ж делать? — спросил он, видимо, ожидая ответа. — Да, что ты велишь делать? — повторил он, и глаза его блестели глубоким, умным выражением. — Я тебе скажу, что делать, — проговорил он, так как князь Андрей всё-таки не отвечал. — Я тебе скажу, что делать и что я делаю. *Dans le doute, mon cher*, — он помолчал, — *abstiens toi*<sup>5</sup>, — проговорил он с расстановкой.

— Ну, прощай, дружок; помни, что я всею душой несу с тобой твою потерю и что я тебе не светлейший, не князь и не главнокомандующий, а я тебе отец. Ежели что нужно, прямо ко мне. Прощай, голубчик. — Он опять обнял и поцеловал его.

Как и отчего это случилось, князь Андрей не мог бы никак объяснить; но после этого свидания с Кутузовым он вернулся к своему полку успокоенный насчёт общего хода дел и насчёт того, кому оно вверено было. Чем больше он видел отсутствие всего личного в этом старике, в котором оставались как будто одни привычки страстей и вместо ума (группирующего события и делающего выводы) одна способность спокойного созерцания хода событий, тем более он был спокоен за то, что всё будет так, как должно быть.

<sup>1</sup> Всё приходит вовремя для того, кто умеет ждать.

<sup>2</sup> Каменский — один из русских полководцев, принимавших участие в русско-турецкой войне (1806—1812).

<sup>3</sup> Русшук — крепость на Дунае.

<sup>4</sup> Этим ухом не слышат, вот что плохо!

<sup>5</sup> В сомнениях, мой милый, воздерживайся!

Офицеры хотели откланяться, но князь Андрей, как будто не желая оставаться с глазу на глаз с своим другом, предложил им посидеть и выпить чаю. Подали скамейки и чай. Офицеры не без удивления смотрели на толстую, громадную фигуру Пьера и слушали его рассказы о Москве и о расположении наших войск, которые ему удалось объездить. Князь Андрей молчал, и лицо его так было неприятно, что Пьер обращался более к добродушному батальонному командиру Тимохину, чем к Болконскому.

— Так ты понял всё расположение войск? — перебил его князь Андрей.

— Да, то есть как? — сказал Пьер. — Как не военный человек, я не могу сказать, чтобы вполне, но всё-таки понял общее расположение.

— *En bien, vous êtes plus avancé que qui cela soit*<sup>1</sup>, — сказал князь Андрей.

— А! — сказал Пьер с недоумением, через очки глядя на князя Андрея. — Ну как вы скажете насчёт назначения Кутузова? — сказал он.

— Я очень рад был этому назначению, вот всё, что я знаю, — сказал князь Андрей.

— Ну, а скажите, какое ваше мнение насчёт Баркляя де Толли? В Москве бог знает, что говорили про него. Как вы судите о нём?

— Спроси вот у них, — сказал князь Андрей, указывая на офицеров.

Пьер с снисходительно-вопросительною улыбкой, с которою невольно все обращались к Тимохину, посмотрел на него.

— Свет увидели, ваше сиятельство, как светлейший поступил, — робко и беспрестанно оглядываясь на своего полкового командира, сказал Тимохин.

— Отчего же так? — спросил Пьер.

— Да вот хоть бы насчёт дров или кормов, доложу вам. Ведь мы от Свенцяна отступали, не смей хворостины тронуть или сѣнца там, или что. Ведь мы уходим, ему достаётся, не так ли, ваше сиятельство? — обратился он к своему князю, — а ты не смей. В нашем полку под суд двух офицеров отдали за этакие дела. Ну, как светлейший поступил, так насчёт этого просто стало. Свет увидали...

— Так отчего же он запрещал?

Тимохин сконфуженно оглядывался, не понимая, как и что отвечать на такой вопрос. Пьер с тем же вопросом обратился к князю Андрею.

<sup>1</sup> Ну так ты больше знаешь, чем кто бы то ни было.

— А чтобы не разорять край, который мы оставляли неприятелю, — злобно-насмешливо сказал князь Андрей. — Это очень основательно: нельзя позволять грабить край и приучаться войскам к мародёрству. Ну и в Смоленске он тоже правильно рассудил, что французы могут обойти нас и что у них больше сил. Но он не мог понять того, — вдруг как бы вырвавшимся тонким голосом закричал князь Андрей, — но он не мог понять, что мы в первый раз дрались там за русскую землю, что в войсках был такой дух, какого никогда я не видал, что мы два дня сряду отбивали французов и что этот успех удесятерил наши силы. Он велел отступать, и все усилия и потери пропали даром. Он не думал об измене, он старался всё сделать как можно лучше, он всё обдумал; но от этого-то он и не годится. Он не годится теперь именно потому, что он всё обдумывает очень основательно и аккуратно, как и следует всякому немцу. Как бы тебе сказать... Ну, у отца твоего немец-лакей, и он прекрасный лакей и удовлетворит всем его нуждам лучше тебя, и пускай он служит; но ежели отец при смерти болен, ты прогонишь лакея и своими непривычными, неловкими руками станешь ходить за отцом и лучше успокоишь его, чем искусный, но чужой человек. Так и сделали с Барклаем. Пока Россия была здорова, ей мог служить чужой, и был прекрасный министр, но как только она в опасности, нужен свой, родной человек. А у вас в клубе выдумали, что он изменник! Тем, что его оклеветали изменником, сделают только то, что потом, устыдившись своего ложного нареkania, из изменников сделают вдруг героем или гением, что ещё будет несправедливее. Он честный и очень аккуратный немец...

— Однако, говорят, он искусный полководец, — сказал Пьер.

— Я не понимаю, что такое значит искусный полководец, — с насмешкой сказал князь Андрей.

— Искусный полководец, — сказал Пьер, — ну тот, который предвидел все случайности... ну, угадал мысли противника.

— Да это невозможно, — сказал князь Андрей, как будто про давно решённое дело.

Пьер с удивлением посмотрел на него.

— Однако, — сказал он, — ведь говорят же, что война подобна шахматной игре.

— Да, сказал князь Андрей, — только с тою маленькою разницей, что в шахматах над каждым шагом мы можешь думать сколько угодно, что ты там вне условий времени, и ещё с тою разницей, что конь всегда сильнее пешки, и две пешки всегда сильнее одной, а на войне один батальон иногда сильнее дивизии, а иногда слабее роты. Относительная сила войск никому не может быть известна. Поверь мне, — сказал он, — что ежели бы что зависело от распоряжений штабов, то я бы был там и делал бы распоряжения, а вместо того я имею честь служить

здесь, в полку, вот с этими господами, и считаю, что от нас действительно будет зависеть завтрашний день, а не от них... Успех никогда не зависел и не будет зависеть ни от позиции, ни от вооружения, ни даже от числа; а уж меньше всего от позиции.

— А от чего же?

— От того чувства, которое есть во мне, в нём, — он указал на Тимохина, — в каждом солдате.

Князь Андрей взглянул на Тимохина, который испуганно и недоумевая смотрел на своего командира. В противность своей прежней сдержанной молчаливости, князь Андрей казался теперь взволнованным. Он, видимо, не мог удержаться от высказывания тех мыслей, которые неожиданно приходили ему.

— Сражение выигрывает тот, кто твёрдо решал его выиграть. Отчего мы под Аустерлицем проиграли сражение? У нас потеря были почти равная с французами, но мы сказали себе очень рано, что мы проиграли сражение, и проиграли. А сказали мы это потому, что нам там незачем было драться: поскорее хотелось уйти с поля сражения. «Проиграли — ну так бежать!» — мы и побежали. Ежели бы до вечера мы не говорили этого, бог знает что бы было. А завтра этого не скажем. Ты говоришь: наша позиция, левый фланг слаб, правый фланг растянут, — продолжал он, — всё это вздор, ничего этого нет. А что нам предстоит завтра? Сто миллионов самых разнообразных случайностей, которые будут решаться мгновенно тем, что побежали или побегут они или наши, что убьют того, убьют другого; а то, что делается теперь — всё это забава. Дело в том, что те, с кем ты ездил по позиции, не только не содействуют общему ходу дел, но мешают ему. Они заняты только своими маленькими интересами.

— В такую минуту? — укоризненно сказал Пьер.

— В *такую минуту*, — повторил князь Андрей, — для них это только такая минута, в которую можно подкопаться под врага и получить лишний крестик или ленточку. Для меня на завтра вот что: стотысячное русское и стотысячное французское войска сошлись драться, и факт в том, что эти 200 тысяч дерутся и кто будет злей драться и себя меньше жалеть, тот победит. И хочешь, я тебе скажу, что, что бы там ни было, что бы ни путали там вверху, мы выиграем сражение завтра. Завтра, что бы там ни было, мы выиграем сражение!

— Вот, ваше сиятельство, правда, правда истинная, — проговорил Тимохин, — что себя жалеть теперь! Солдаты в моём батальоне, поверите ли, не стали водку пить: не такой день, говорят. — Все помолчали.

Кутузов сидел, понурился седую голову и опустившись тяжёлым телом на покрытой ковром лавке, на том самом месте, на котором утром его видел Пьер. Он не делал никаких распоряжений, а только соглашался или не соглашался на то, что предлагали ему.

«Да, да, сделайте это», — отвечал он на различные предложения. «Да, да, съезди, голубчик, посмотри», — обращался он то к тому, то к другому из приближённых; или: «Нет, не надо, лучше подождём», — говорил он. Он выслушивал привозимые ему донесения, отдавал приказания, когда это требовалось подчинённым; но, выслушивая донесения, он казалось, не интересовался смыслом слов того, что ему говорили, а что-то другое в выражении лиц, в тоне речи доносивших, интересовало его. Долголетним военным опытом он знал и старческим умом понимал, что руководить сотнями тысяч человек, борющихся с смертью, нельзя одному человеку, и знал, что решают участь сраженья не распоряжения главнокомандующего, не место, на котором стоят войска, не количество пушек и убитых людей, а та неуловимая сила, называемая духом войска, и он следил за этою силой и руководил ею, насколько это было в его власти.

Общее выражение лица Кутузова было сосредоточенное, спокойное внимание и напряжение, едва преодолевавшее усталость слабого и старого тела.

В 11 часов утра ему привезли известие о том, что знятые французами флеша<sup>1</sup> были опять отбиты, но что князь Багратион ранен. Кутузов ахнул и покачал головой.

— Поезжай к князю Петру Ивановичу и подробно узнай, что и как, — сказал он одному из адъютантов, и вслед за тем обратился к принцу Вюртембергскому, стоявшему позади его:

— Не угодно ли будет вашему высочеству принять командование 1-й армией?

Вскоре после отъезда принца, так скоро, что он ещё не мог доехать до Семёновского, адъютант принца вернулся от него и доложил светлейшему, что принц просит войск.

Кутузов поморщился и послал Дохтурову приказание принять командование 1-й армией, а принца, без которого, как он сказал, он не может обойтись в эти важные минуты, просил вернуться к себе. Когда привезено было известие о взятии в плен Мюрата и штабные поздравляли Кутузова, он улыбнулся.

— Подождите, господа, — сказал он. — Сражение выиграно, и в пленении Мюрата нет ничего необыкновенного. Но лучше подождать радоваться. — Однако он послал адъютанта проехать по войскам с этим известием.

<sup>1</sup> Флеша — полевое укрепление в форме тупого угла.

Когда с левого фланга прискакал Щербинин с донесением о занятии французами флешей и Семёновского, Кутузов, по звукам поля сражения и по лицу Щербинина угадав, что известия были нехорошие, встал, как бы разминая ноги, и, взяв под руку Щербинина, отвёл его в сторону.

— Съезди, голубчик, — сказал он Ермолову, — посмотри, нельзя ли что сделать.

Кутузов был в Горках, в центре позиции русского войска. Направленная Наполеоном атака на наш левый фланг была несколько раз отбиваема. В центре французы не подвинулись далее Бородина. С левого фланга кавалерия Уварова заставила бежать французов.

В третьем часу атаки французов прекратились. На всех лицах, приезжавших с поля сражения, и на тех, которые стояли вокруг него, Кутузов читал выражение напряжённости, дошедшей до высшей степени. Кутузов был доволен успехом дня сверх ожидания. Но физические силы оставляли старика. Несколько раз голова его низко опускалась, как бы падая, и он задремал. Ему подали обедать.

Флигель-адъютант<sup>1</sup> Вольцоген, тот самый, который, проезжая мимо князя Андрея, говорил, что войну надо *im Raum verlegen*<sup>2</sup> и которого так ненавидел Багратион, во время обеда подъехал к Кутузову. Вольцоген приехал от Барклая с донесением о ходе дел на левом фланге. Благоразумный Барклай де Толли, видя толпы отбегающих раненых и расстроенные зады армии, взвесив все обстоятельства дела, решил, что сражение проиграно, и с этим известием прислал к главнокомандующему своего любимца.

Кутузов с трудом жевал жареную курицу и сузившимися, повеселевшими глазами взглянул на Вольцогена.

Вольцоген, небрежно разминая ноги, с полупрезрительною улыбкой на губах, подошёл к Кутузову, слегка дотронувшись до козырька рукою.

Вольцоген обращался с светлейшим с некоторою аффектированою<sup>3</sup> небрежностью, имеющею целью показать, что он, как высоко образованный военный, предоставляет русским делать кумира<sup>4</sup> из этого старого, бесполезного человека, а сам знает, с кем он имеет дело. «*Der alte Herr (как называли Кутузова в своём кругу немцы) macht sich ganz bequem*»,<sup>5</sup> — подумал Вольцоген и, строго взглянув на тарелки, стоявшие перед Кутузовым, начал докладывать старому господину положение дел на

<sup>1</sup> Флигель-адъютант — офицер, зачисленный в свиту царя.

<sup>2</sup> Перенести в пространство.

<sup>3</sup> Аффектированный — неестественный преувеличенный.

<sup>4</sup> Кумир — предмет восхищения, поклонения.

<sup>5</sup> Старый господин покойно устроился.

левом фланге так, как приказал ему Барклай и как он сам его видел и понял.

— Все пункты нашей позиции в руках неприятеля и отбить нечем, потому что войск нет; они бегут, и нет возможности останавивать их. — докладывал он.

Кутузов, остановившись жевать, удивлённо, как будто не понимая того, что ему говорили, уставился на Вольцогена. Вольцоген, заметив волнение *des alten Herri*,<sup>1</sup> с улыбкой сказал.

— Я не считал себя вправе скрыть от вашей светлости того, что я видел... Войска в полном расстройстве...

— Вы видели? Вы видели?.. — нахмурившись закричал Кутузов, быстро вставая и наступая на Вольцогена. — Как вы... как вы смеете!.. — делая угрожающие жесты трясущимися руками и захлёбываясь, закричал он. — Как смеете вы, милостивый государь, говорить это мне. Вы ничего не знаете. Передайте от меня генералу Барклаю, что его сведения несправедливы и что настоящий ход сражения известен мне, главнокомандующему, лучше, чем ему.

Вольцоген хотел возразить что-то, но Кутузов перебил его:

— Неприятель отбит на левом и поражён на правом фланге. Ежели вы плохо видели, милостивый государь, то не позволяйте себе говорить того, чего вы не знаете. Извольте ехать к генералу Барклаю и передать ему назавтра моё неперменное намерение атаковать неприятеля, — строго сказал Кутузов. Все молчали, и слышно было одно тяжёлое дыхание запыхавшегося старого генерала. — Отбиты везде, за что я благодарю бога и наше храброе войско. Неприятель побеждён и завтра погоним его из священной земли русской, — сказал Кутузов, крестясь; и вдруг всхлипнул от наступивших слёз. Вольцоген, пожав плечами и скривив губы, молча отошёл к стороне, удивляясь *über diese Ein-genommenheit des alten Herri*<sup>2</sup>.

— Да, вот он мой герой, — сказал Кутузов к полному, красивому, черноволосому генералу, который в это время входил на курган. Это был Раевский, проведший весь день на главном пункте Бородинского поля.

Раевский доносил, что войска твёрдо стоят на своих местах и что французы не смеют атаковать более.

Выслушав его, Кутузов по-французски сказал:

— *Vous ne pensez donc pas comme les autres que nous sommes obligés de nous retirer?*

— *Au contraire, votre altesse, dans les affaires indécises c'est toujours le plus opiniâtre qui reste victorieux,* — отвечал Раевский, — *et mon opinion...*<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Старого господина.

<sup>2</sup> На это самодурство старого господина.

<sup>3</sup> — Вы, стало быть, не думаете, как другие, что мы должны отступить?

— Напротив, ваша светлость, в нерешительных делах остаётся победителем тот, кто упрямее, и моё мнение...

— Кайсаров! — крикнул Кутузов своего адъютанта. — Садись, пиши приказ на завтрашний день. А ты, — обратился он к другому, — поезжай по линии и объяви, что завтра мы атакуем.

Пока шёл разговор с Раевским и диктовался приказ, Вольцоген вернулся от Баркляя и доложил, что генерал Барклай де Толли желал бы иметь письменное подтверждение того приказа, который отдавал фельдмаршал.

Кутузов, не глядя на Вольцогена, приказал написать этот приказ, который, весьма основательно, для избежания личной ответственности, желал иметь бывший главнокомандующий.

И по неопределимой, таинственной связи, поддерживающей во всей армии одно и то же настроение, называемое духом армии, и составляющее главный нерв войны, слова Кутузова, его приказ к сражению на завтрашний день передались одновременно во все концы войска.

Далеко не самые слова, не самый приказ передавались в последней цепи этой связи. Даже ничего не было похожего в тех рассказах, которые передавали друг другу на разных концах армии, на то, что сказал Кутузов; но смысл его слов сообщился повсюду, потому что то, что сказал Кутузов, вытекало не из хитрых соображений, а из чувства, которое лежало в душе главнокомандующего, так же как и в душе каждого русского человека.

И узнав то, что назавтра мы атакуем неприятеля, из высших сфер армии услышав подтверждение того, чему они хотели верить, измученные, колеблющиеся люди утешались и ободрялись.

### СОВЕТ В ФИЛЯХ

(Том III, часть третья, главы III и IV.)

### Глава III.

Русские войска, отступив от Бородина, стояли у Филей. Ермолов, ездивший для осмотра позиции, подъехал к фельдмаршалу.

— Драться на этой позиции нет возможности, — сказал он. Кутузов удивлённо посмотрел на него и заставил его повторить сказанные слова. Когда он проговорил, Кутузов протянул ему руку.

— Дай-ка руку, — сказал он, и, повернув её так, чтоб ощупать его пульс, он сказал. — Ты нездоров, голубчик. Подумай, что ты говоришь.

Кутузов на Поклонной горе, в шести верстах от Дорогомиловской заставы, вышел из экипажа и сел на лавку на краю дороги. Огромная толпа генералов собралась вокруг него. Граф

Растопчин<sup>1</sup>, приехав из Москвы, присоединился к ним. Всё это блестящее общество, разбившись на несколько кружков, говорило между собой о выгодах и невыгодах позиции, о положении войск, о предполагаемых планах, о состоянии Москвы, вообще о вопросах военных. Все чувствовали, что хотя и не были призваны на то, что хотя это не было так названо, но что это был военный совет. Разговоры все держались в области общих вопросов. Ежели кто и сообщал или узнавал личные новости, то про это говорилось шёпотом, и тотчас переходили опять к общим вопросам: ни шуток, ни смеха, ни улыбок даже не было заметно между всеми этими людьми. Все, очевидно с усилием, старались держаться на высоте положения. И все группы, разговаривая между собой, старались держаться в близости главнокомандующего (лавка которого составляла центр в этих кружках) и говорили так, чтоб он мог их слышать. Главнокомандующий слушал и иногда переспрашивал, то, что говорили вокруг него, но сам не вступал в разговор и не выражал никакого мнения. Большею частью, послушав разговор какого-нибудь кружка, он с видом разочарования — как будто совсем не о том они говорили, что он желал знать, — отворачивался. Лицо Кутузова становилось всё озабоченнее и печальнее. Из всех разговоров этих Кутузов видел одно: защищать Москву не было *никакой физической возможности* в полном значении этих слов, то есть до такой степени не было возможности, что, ежели бы какой-нибудь безумный главнокомандующий отдал приказ о даче сражения, то произошла бы путаница и сражения всё-таки бы не было; не было бы потому, что все высшие начальники не только признавали эту позицию невозможною, но в разговорах своих обсуждали только то, что произойдёт после несомненного оставления этой позиции. Как же могли начальники вести свои войска на поле сражения, которое они считали невозможным? Низшие начальники, даже солдаты (которые тоже рассуждают) также признавали позицию невозможною и потому не могли идти драться с уверенностью поражения. Ежели Бенигсен настаивал на защите этой позиции и другие ещё обсуждали её, то вопрос этот уже не имел значения сам по себе, а имел значение только как предлог для спора и интриги. Это понимал Кутузов.

Бенигсен, выбрав позицию, горячо выставя свой русский патриотизм (которого не мог не морщась выслушивать Кутузов), настаивал на защите Москвы. Кутузов ясно как деё видел цель Бенигсена: в случае неудачи защиты — свалить вину на Кутузова, доведшего войска без сражения до Воробьёвых гор, а в случае успеха — себе приписать его; в случае же отказа — очистить себя в преступлении оставления Москвы. Но этот вопрос интриги не занимал теперь старого человека. Один страшный

---

<sup>1</sup> Граф Растопчин — московский губернатор.

вопрос занимал его. И на вопрос этот он ни от кого не слышал ответа. Вопрос состоял для него теперь только в том: «Неужели это я допустил до Москвы Наполеона, и когда же я это сделал? Когда это решилось? Неужели вчера, когда я послал к Платову приказ отступить, или третьего дня вечером, когда я задремал и приказал Беннигсену распорядиться? Или ещё прежде?.. но когда, когда же решилось это страшное дело? Москва должна быть оставлена. Войска должны отступить, и надо отдать это приказание». Отдать это страшное приказание казалось ему одно и то же, что отказаться от командования армией. А мало того, что он любил власть, привык к ней (почёт, отдаваемый князю Прозоровскому, при котором он состоял в Турции, дразнил его), он был убеждён, что ему было предназначено спасение России, и потому только против воли государя и по воле народа, он был избран главнокомандующим. Он был убеждён, что он один в этих трудных условиях мог держаться во главе армии, что он один во всём мире был в состоянии без ужаса знать своим противником непобедимого Наполеона; и он ужасался мысли о том приказании, которое он должен был отдать. Но надо было решить что-нибудь, надо было прекратить эти разговоры вокруг него, которые начинали принимать слишком свободный характер.

Он подозвал к себе старших генералов.

— *Ma tête, fut-elle, bonne ou mauvaise, n'a qu'à s'aider d'elle même,*<sup>1</sup> — сказал он, вставая с лавки, и поехал в Фили, где стояли его экипажи.

#### Глава IV.

В просторной, лучшей избе мужика Андрея Савостьянова, в два часа собрался совет. Мужики, бабы и дети мужицкой большой семьёй теснились в чёрной избе через сени. Одна только внучка Андрея, Малаша, шестилетняя девочка, которой светлейший, приласкав её, дал за чаем кусок сахара, оставалась на печи в большой избе. Малаша робко и радостно смотрела с печи на лица, мундиры и кресты генералов, одного за другим входивших в избу и рассаживавшихся в красном углу на широких лавках под образами. Сам дедушка, как внутренне называла Малаша Кутузова, сидел от них особо, в тёмном углу за печкой. Входившие один за другим подходили к фельдмаршалу; некоторым он пожимал руку, некоторым кивал головой. Адъютант Кайсаров хотел было отдернуть занавеску в окне против Кутузова, но Кутузов сердито замахал ему рукой, и Кайсаров понял, что, светлейший не хочет, чтобы видели его лицо.

<sup>1</sup> — Хороша ли, плоха ли моя голова, а положиться больше не на кого.

Вокруг мужицкого елового стола, на котором лежали карты, планы, карандаши, бумаги, собралось так много народа, что денщики принесли ещё лавку и поставили у стола.

Все ждали Бенигсена, который доканчивал свой вкусный обед под предлогом нового осмотра позиции. Его ждали от четырёх до шести часов, и во всё это время не приступали к совещанию и тихими голосами вели посторонние разговоры.

Только когда в избу вошёл Бенигсен, Кутузов выдвинулся из своего угла и подвинулся к столу, но настолько, что лицо его не было освещено поданными на стол свечами.

Бенигсен открыл совет вопросом: «Оставить ли без боя священную и древнюю столицу России или защищать её?» Последовало долгое и общее молчание. Все лица нахмурились, и в тишине слышалось сердитое кряхтенье и покашливанье Кутузова. Все глаза смотрели на него. Малаша тоже смотрела на дедушку. Она ближе всех была к нему и видела, как лицо его сморщилось: он точно собирался плакать. Но это продолжалось недолго.

— *Священную древнюю столицу России!* — вдруг заговорил он, сердитым голосом повторяя слова Бенигсена и этим указывая на фалшивую ноту этих слов. — Позвольте вам сказать, ваше сиятельство, что вопрос этот не имеет смысла для русского человека. (Он перевалился вперёд своим тяжёлым телом.) Такой вопрос нельзя ставить, и такой вопрос не имеет смысла. Вопрос, для которого я просил собраться этих господ, это вопрос военный. Вопрос следующий: «Спасенье России в армии. Выгоднее ли рисковать потерей армии и Москвы, приняв сраженье, или отдать Москву без сраженья? Вот на какой вопрос я желаю знать ваше мнение». (Он откатнулся назад на спинку кресла.)

Начались прения. Бенигсен не считал ещё игры проигранною. Допуская мнение Барклая и других о невозможности принять оборонительное сражение под Филями, он, проникнувшись русским патриотизмом и любовью к Москве, предлагал перевести войска в ночи с правого на левый фланг и ударить на другой день на правое крыло французов. Мнения разделились, были споры в пользу и против этого мнения.

— Я, господа, — сказал Кутузов, — не могу одобрить плана графа. Передвижения войск в близком расстоянии от неприятеля всегда бывают опасны, и военная история подтверждает это соображение. Так, например... (Кутузов как будто задумался, приискивая пример и светлым, наивным взглядом глядя на Бенигсена.) Да вот хоть бы Фриланское сражение<sup>1</sup>, которое, как я думаю, граф хорошо помнит, было... не вполне удачно только оттого, что войска наши перестраивались в слишком близком расстоянии от неприятеля... — Последовало, показавшееся всем очень продолжительным, минутное молчание.

<sup>1</sup> Фриланское сражение — сражение под Фриландом, выигранное Наполеоном в 1807 году.

Прения опять возобновились, но часто наступали перерывы, и чувствовалось, что говорить больше не о чем.

Во время одного из таких перерывов Кутузов тяжело вдохнул, как бы собираясь говорить. Все оглянулись на него.

— Eh, bien, messieurs! Je vois que c'est moi qui payeraix les pots cassés<sup>1</sup>, vt. all сказал он. И, медленно приподнявшись, он подошёл к столу. — Господа, я слышал ваши мнения. Некоторые будут несогласны со мной. Но я (он остановился) властью, вручённую мне моим государем и отечеством, я — приказываю отступление.

Вслед за этим генералы стали расходиться с тою же торжественностью и молчаливою осторожностью, с которою расходятся после похорон.

Некоторые из генералов негромким голосом, совсем в другом диапазоне, чем когда они говорили на совете, передали кое-что главнокомандующему.

Отпустив генералов, Кутузов долго сидел облокотившись на стол и думал всё о том же страшном вопросе: «Когда же, когда же наконец решилось то, что оставлена Москва? Когда было сделано то, что решило вопрос и кто виноват в этом?»

— Этого, этого я не ждал, — сказал он вошедшему к нему, уже поздно ночью, адъютанту Шнейдеру, — этого я не ждал! Этого я не думал!

— Вам надо отдохнуть, ваша светлость, — сказал Шнейдер.

— Да нет же! Будут же они лошадиное мясо жрать, как турки, — не отвечая прокричал Кутузов, ударяя пухлым кулаком по столу, — будут и они, только бы...

## ОТЪЕЗД РОСТОВЫХ ИЗ МОСКВЫ

(Том III, часть третья, глава XV и XVI.)

### Глава XV.

Наступил последний день Москвы. Была ясная, весёлая, осенняя погода. Было воскресенье. Как и в обыкновенные воскресенья, благовестили к обедне<sup>2</sup> во всех церквях. Никто, казалось, ещё не мог понять того, что ожидает Москву.

В степенном и старом доме Ростовых распадение прежних условий жизни выразилось очень слабо. В отношении людей было только то, что в ночь пропало три человека из огромной дворни; но ничего не было украдено, и в отношении цен вещей оказалось то, что 30 подвод, пришедшие из деревень, были огромное богатство, которому многие завидовали и за которые

<sup>1</sup> Итак, господа, стало быть, мне платить за перебитые горшки.

<sup>2</sup> Благовестили к обедне — звонили в колокола. Обедня — утренняя церковная служба.

Ростовым предлагали огромные деньги. Мало того, что за эти подводы предлагали огромные деньги, с вечера и рано утром 1-го сентября на двор к Ростовым приходили посланные денщики и слуги от раненых офицеров и притаскивались сами раненые, помещённые у Ростовых и в соседних домах, и умоляли людей Ростовых похлопотать о том, чтоб им дали подводы для выезда из Москвы. Дворецкий, к которому обращались с такими просьбами, хотя и жалел раненых, решительно отказывал, говоря, что он даже и не посмеет доложить о том графу. Как ни жалки были остающиеся раненые, было очевидно, что отдай одну подводу, не было причины не отдать другой, отдай всё, нужно отдать и свои экипажи. Тридцать подвод не могли спасти всех раненых, а в общем бедствии нельзя было не думать о себе и своей семье. Так думал дворецкий за своего барина.

Проснувшись утром 1-го числа, граф Илья Андреич потихоньку вышел из спальни, чтобы не разбудить к утру только что заснувшую графиню, и в своём лиловом, шёлковом халате вышел на крыльцо. Подводы увязанные стояли на дворе. У крыльца стояли экипажи. Дворецкий стоял у подъезда, разговаривая со стариком-денщиком и с молодым, бледным офицером с подвязанной рукой. Дворецкий, увидав графа, сделал офицеру и денщику значительный и строгий знак, чтоб они удалились.

— Ну что, всё готово, Васильич? — сказал граф, потирая свою лысину и добродушно глядя на офицера и денщика и кивая им головой. (Граф любил новые лица.)

— Хоть сейчас запрягать, ваше сиятельство.

— Ну и славно, вот графиня проснётся, и с богом! — Вы что господа? — обратился он к офицеру. — У меня в доме? — Офицер придвинулся ближе. Бледное лицо его вспыхнуло вдруг яркой краской.

— Граф, сделайте одолжение, позвольте мне... ради бога... где-нибудь приютиться на ваших подводах. Здесь у меня ничего в собой нет... Мне на возу всё равно... — Ещё не успел договорить офицер, как денщик с тою же просьбой для своего господина обратился к графу.

— Ах! да, да, да, — поспешно заговорил граф. — Я очень, очень рад. Васильич, ты распорядись, ну там очистить одну или две телеги, ну там... что же... что нужно... — какими-то неопределёнными выражениями, что-то приказывая, сказал граф. Но в то же мгновение горячее выражение благодарности офицера уже закрепило то, что он приказывал. Граф оглянулся вокруг себя: на дворе, в воротах, в окне флигеля виднелись раненые и денщики. Все они смотрели на графа и подвигались к крыльцу.

— Пожалуйте, ваше сиятельство, в галерею: там как прикажете насчёт картин? — сказал дворецкий. И граф вместе с ним

вошёл в дом, повторяя своё приказание о том, чтобы не отказывать раненым, которые просят ехать.

— Ну, что же, можно сложить что-нибудь, — прибавил он тихим, таинственным голосом, как будто боясь, чтобы кто-нибудь его не услышал.

В 9 часов проснулась графиня, и Матрёна Тимофеевна, бывшая её горничная, исполнившая в отношении графини должность шефа жандармов, пришла доложить своей бывшей барышне, что Марья Карловна очень обижены и что барышниним летним платьям нельзя остаться здесь. На расспросы графини, почему m-me Schoss обижена, открылось, что её сундук сняли с подводы, и все подводы развязывают, добро снимают и набирают с собой раненых, которых граф по своей простоте приказал забирать с собой. Графиня велела попросить к себе мужа.

— Что это, мой друг, я слышу, вещи опять снимают?

— Знаешь, та chère<sup>1</sup>, я вот что хотел тебе сказать... та chère графинюшка... ко мне приходил офицер, просят, чтобы дать несколько подвод под раненых. Ведь это всё дело наживное; а каково им оставаться, подумай!.. Право у нас на дворе, сами мы их зазвали, офицеры тут есть... Знаешь, думаю, право, та chère, вот, та chère..., пускай их свезух... куда же торопиться?.. — Граф робко сказал это, как он всегда говорил, когда дело шло о деньгах. Графиня же привыкла уже к этому тону, всегда предшествовавшему делу, разорявшему детей, как какая-нибудь постройка галереи, оранжереи, устройство домашнего театра или музыки, и привыкла, и долгом считала всегда противоборствовать тому, что выражалось этим робким тоном.

Она приняла свой покорно-плачевный вид и сказала мужу:

— Послушай, граф, ты довёл до того, что за дом ничего не дают, а теперь и всё наше — детское — состояние погубить хочешь. Ведь ты сам говоришь, что в доме на 100 тысяч добра. Я, мой друг, не согласна и не согласна. Воля твоя! На раненых есть правительство. Они знают. Посмотри: вон напротив, у Лопухиных ещё третьего дня всё дочиста вывезли. Вот как люди делают. Одни мы дураки. Пожалей хоть не меня, так детей.

Граф замахал руками и, ничего не сказав, вышел из комнаты.

— Папа! о чём вы это? — сказала ему Ннаташа, вслед за ним вошедшая в комнату матери.

— Ни о чём! Тебе что за дело! — сердито проговорил граф.

— Нет, я слышала. — сказала Наташа. — Отчего же маменька не хочет?

— Тебе что за дело? — крикнул граф. Наташа отошла к окну и задумалась.

---

<sup>1</sup> Дружок,

Наташа вышла вместе с отцом и, как будто с трудом соображая что-то, сначала пошла за ним, а потом побежала вниз.

На крыльце стоял Петя, занимавшийся вооружением людей, которые ехали из Москвы. На дворе всё так же стояли заложенные подводы. Две из них были развязаны, и на одну из них влез офицер, поддерживаемый денщиком.

— Ты знаешь за что? — спросил Петя Наташу (Наташа поняла, что Петя разумел, за что поссорились отец с матерью). Она не отвечала.

— За то, что папенька хотел отдать все подводы под раненых, — сказал Петя. — Мне Васильич сказал. По-моему...

— По-моему, — вдруг закричала почти Наташа, обращая свое злобное лицо к Пете, — по-моему, это такая гадость, такая мерзость, такая... я не знаю. Разве мы немцы какие-нибудь... — Горло её задрожало от судорожных рыданий, и она, боясь ослабеть и выпустить даром заряд своей злобы, повернулась и стремительно бросилась по лестнице.

Граф с трубкой в руках ходил по комнате, когда Наташа, с изуродованным злобой лицом, как буря, ворвалась в комнату и быстрыми шагами подошла к матери.

— Это гадость! Это мерзость! — закричала она. — Это не может быть, чтобы вы приказали.

Граф остановился у окна, прислушиваясь.

— Маменька, это нельзя, посмотрите, что на дворе! — закричала она, — они остаются!..

— Что с тобой? Кто они? Что тебе надо?

— Раненые, вот кто! Это нельзя, маменька; это ни на что не похоже... Нет, маменька, голубушка, это не то, простите, пожалуйста, голубушка... Маменька, ну что нам-то, что мы увезём, вы посмотрите только, что на дворе... Маменька!.. Это не может быть!..

Граф стоял у окна и, не поворачивая лица, слушал слова Наташи. Вдруг он засопел носом и приблизил своё лицо к окну.

Графиня взглянула на дочь, увидала её пристыжённое за мать лицо, увидала её волнение, поняла, отчего муж теперь не оглядывался на неё, и с растерянным видом оглянулась вокруг себя.

— Ах, да делайте, как хотите! Разве я мешаю кому-нибудь — сказала она, ещё не вдруг сдаваясь.

— Маменька, голубушка, простите меня.

Но графиня оттолкнула дочь и подошла к графу.

— Моп сёге, ты распорядись как надо... Я ведь не знаю этого, — сказала она, виновато опуская глаза.

— Яйца... яйца курицу учат... — сквозь счастливые слёзы проговорил граф и обнял жену, которая рада была скрыть на его груди своё пристыжённое лицо.

— Папенька, маменька! Можно распорядиться? — Можно? .. — спрашивала Наташа. — Мы всё-таки возьмём всё самое нужное... — говорила Наташа.

Граф утвердительно кивнул ей головой, и Наташа тем быстрым бегом, которым она бегивала в горелки, побежала по зале в переднюю и по лестнице на двор.

Люди собрались около Наташи и до тех пор не могли поверить тому странному приказанию, которое она передавала, пока сам граф именем своей жены не подтвердил приказания о том, чтоб отдавать все подводы под раненых, а сундуки сносить в кладовые. Поняв приказание, люди с радостью и хлопотливостью принялись за новое дело. Прислуге теперь это не только не казалось странным, но, напротив, казалось, что это не могло быть иначе; точно так же, как за четверть часа перед этим никому не только не казалось странным, что оставляют раненых, а берут вещи, но казалось, что не могло быть иначе.

Все домашние, как бы выплачивая за то, что они раньше не взяли за это, принялись с хлопотливостью за новое дело размещения раненых. Раненые выползли из своих комнат и с радостными, бледными лицами окружали подводы. В соседних домах тоже разнёсся слух, что есть подводы, и на двор к Ростовым стали приходить раненые из других домов. Многие из раненых просили не снимать вещей и только посадить их сверху. Но раз начавшееся дело свалки вещей уже не могло остановиться. Было всё равно, оставлять всё или половину. На дворе лежали небрунные сундуки с посудой, с бронзой, с картинами, зеркалами, которые так стремительно укладывались в прошлую ночь, и всё искали и находили возможность сложить то и то, и отдать ещё и ещё подводы.

— Четверых ещё можно взять, — говорил управляющий, — я свою повозку отдаю, а то куда же их?

— Да отдайте мою гардеробную, — говорила графиня. — Дуняша со мной сядет в карету.

Отдали ещё и гардеробную повозку и отправили её за ранеными через два дома. Все домашние и прислуга были весело оживлены. Наташа находилась в восторженно-счастливом оживлении, которого она давно не испытывала.

— Куда же его привязать? — говорили люди, прилаживая сундук к узкой запятке кареты, — надо хоть одну подводу оставить.

— Да с чем он? — спрашивала Наташа.

— С книгами графскими.

— Оставьте. Васильич уберёт. Это не нужно.

В бричке всё было полно людей; сомневались о том, куда сядет Пётр Ильич.

— Он на козлы. Ведь ты на козлы, Петя? — кричала Наташа.

Соня, не переставая, хлопотала тоже; но цель хлопот её была противоположна цели Наташи. Она убирала те вещи, которые должны были остаться, записывала их по желанию графини и старалась захватить с собой как можно больше.

## ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

(Том IV, часть третья, главы I, III, V и IX, X, XI.)

### Глава I.

... Со времени пожара Смоленска началась война, не подходящая ни под какие прежние предания войн. Сожжение городов и деревень, отступление после сражений, удар Бородина и опять отступление, пожар Москвы, ловля мародёров, переимка транспортов, партизанская война — всё это были отступления от правил.

Наполеон чувствовал это и с самого того времени, когда он в правильной позе фехтования остановился в Москве и вместо шпаги противника увидел поднятую над собой дубину, он не переставал жаловаться Кутузову и императору Александру на то, что война велась противно всем правилам (как будто существуют какие-то правила для того, чтоб убивать людей). Несмотря на жалобы французов о неисполнении правил, несмотря на то, что высшим по положению русским людям казалось почему-то стыдным драться дубиной, а хотелось по всем правилам стать в позицию *en quarte* или *en tierce*, сделать искусное выпадение в *prime*<sup>1</sup> и т. д., — дубина народной войны поднялась со всею своею грозною и величественною силой и, не спрашивая ничьих вкусов и правил, с глупою простотою, но с целесообразностью, не разбирая ничего, поднималась, опускалась и гвоздила<sup>2</sup> французов до тех пор, пока не погибло всё нашествие.

И благо тому народу, который не как французы в 1813 году, отсалютировав по всем правилам искусства и перевернув шпагу эфесом<sup>3</sup>, грациозно и учтиво передают её великодушному победителю, а благо тому народу, который в минуту испытания, не спрашивая о том, как по правилам поступали другие в подобных случаях, с простотою и лёгкостью поднимает первую попавшуюся дубину и гвоздит ею до тех пор, пока в душе его чувство оскорбления и мести не заменится презрением и жалостью.

<sup>1</sup> Четвёртую, третью, первую.

<sup>2</sup> Гвоздить — бить, колотить, не разбирая, как попало.

<sup>3</sup> Эфес — рукоятка холодного оружия (сабли, шашки, шпаги).

### Глава III.

Так называемая партизанская война началась со вступления неприятеля в Смоленск.

Прежде чем партизанская война была официально принята нашим правительством, уже тысячи людей неприятельской армии — отсталые мародёры, фуражиры<sup>1</sup> — были истреблены казаками и мужиками, побивавшими этих людей так же бессознательно, как бессознательно собаки загрызают забегающую бешеную собаку. Денис Давыдов своим русским чутьём первый понял значение этого страшного орудия, которое, не спрашивая правил военного искусства, уничтожало французов, и ему принадлежит слава первого шага для узаконения этого приёма войны.

24 августа был учреждён первый партизанский отряд Давыдова, и вслед за его отрядом стали учреждаться другие. Чем дальше подвигалась кампания, тем больше увеличивалось число этих отрядов.

Партизаны уничтожали великую армию по частям. Они подбирали те отпадавшие листья, которые сами собою сыпались с иссохшего дерева — французского войска, и иногда трясли это дерево. В октябре, в то время как французы бежали к Смоленску, этих партий различных величин и характеров были сотни. Были партии, перенимавшие все приёмы армии, с пехотой, артиллерией, штабами, с удобствами жизни; были одни казачьи, кавалерийские; были мелкие, сборные, пешие и конные, были мужицкие, и помещицьи, никому не известные. Был начальник партии дьячок, взявший в месяц несколько сот пленных. Была старостиха Василиса, побившая сотни французов.

### Глава V.

Денисов, возглавлявший один из партизанских отрядов, намеревался атаковать и отбить французский транспорт кавалерийских вещей и русских пленных. Для этого он вместе со своей партизанской партией следил целый день 22 октября за движением транспорта, чтобы потом, соединившись с партией Долохова, напасть на французов с двух сторон, побить и забрать всех разом. Денисову надо было знать, какие именно были эти французские войска, а для этой цели надо было взять языка, то есть человека из неприятельской колонны. Захваченные в утреннем нападении французы были перебиты, в живых остался только мальчик-барабанщик, который ничего не мог сказать положительное. Поэтому Денисов послал в Шамшево, куда должны были подойти французы, партизана-мужика Тихона Щербатова захватить хоть одного из бывших там французских передовых квартирьеров, то есть военнослужащих, высылаемых при передвижении войск вперёд для под-

<sup>1</sup> Фуражир — военнослужащий, ведающий заготовкой фуража (корма для лошадей, скота), хранением и выдачей его.

готовки мест расположения. В отряд Денисова был послан с донесением от большого партизанского отряда, возглавляемого генералом-немцем, Петя Ростов, брат Наташи, который добился от родителей разрешения поступить в армию и участвовать в войне. В бумаге, привезённой Петей, вновь повторялось требование присоединиться для нападения на транспорт. Петя Ростов решил остаться на два дня в отряде Денисова и вместе с Денисовым, несколькими казаками и гусаром, который вёз пленного, подъехали к опушке леса, чтобы взглянуть на место французского расположения. Их повел мужик-проводник.

Дождик прошёл, только падал туман и капли воды с веток деревьев. Денисов, есаул<sup>1</sup> и Петя молча ехали за мужиком в колпаке, который, легко и беззвучно ступая по корням и мокрым листьям своими вывернутыми ногами в лаптях, вёл их к опушке леса.

У большого дуба, ещё не скинувшего листа, он остановился и таинственно поманил к себе рукою.

Денисов и Петя подъехали к нему. С того места, на котором остановился мужик, были видны французы. Сейчас за лесом шло вниз полубугром яровое поле. Вправо, через крутой овраг, виднелась небольшая деревушка и барский домик с разваленными крышами. В этой деревушке и в барском доме, и по всему бугру, в саду, у колодцев и пруда и по всей дороге в гору от моста к деревне, не более как в 200 саженьях расстояния, виднелись в колеблющемся тумане толпы народа. Слышны были явственно их нерусские крики на выдиравшихся в гору лошадей в повозках и призывы друг другу.

— Придёт, не придёт Долохов, надо брать!.. А? — сказал Денисов, весело блеснув глазами.

— Место удобное, — сказал есаул.

В то время как они вполголоса говорили таким образом, внизу, в лощине от пруда, щёлкнул один выстрел, другой, забелелся дымок и послышался дружный, как будто весёлый крик сотен голосов французов, бывших на полугоре. В первую минуту и Денисов и есаул подались назад. Они были так близко, что им показалось, что они были причиной этих выстрелов и криков. Но выстрелы и крики не относились к ним. Низом, по болотам, бежал человек в чём-то красном. Очевидно, по нём стреляли и на него кричали французы.

— Ведь это Тихон наш, — сказал есаул.

— Он он и есть!

— Эка шельма, — сказал Денисов.

— Уйдёт! — щуря глаза сказал есаул.

Человек, которого они называли Тихоном, подбежал к речке, бултыхнулся в неё так, что брызги полетели и, скрывшись на

---

<sup>1</sup> Есаул — казачье звание и должность; офицерский чин в дореволюционных казачьих войсках.

мгновенье, выбрался на четвереньках, весь черный от воды, и побежал дальше. Французы, бежавшие за ним, остановились.

— Ну, ловок, — сказал есаул.

— Экая bestия!<sup>1</sup> — с тем же выражением досады проговорил Денисов. — И что он делал до сих пор?

— Это кто? — спросил Петя.

— Это наш пластун<sup>2</sup>. Я его посылал языка взять.

— Ах, да, — сказал Петя с первого слова Денисова, кивая головой, как будто он всё понял, хотя он решительно не понял ни одного слова.

Тихон Щербатый был один из самых нужных людей в партии. Он был мужик из Покровского под Гжатью. Когда, при начале своих действий, Денисов пришёл в Покровское и как всегда, призвав старосту, спросил о том, что им известно про французов, староста отвечал, как отвечали и все старосты, как бы защищаясь, что они ничего знать не знают, ведать не ведают. Но когда Денисов объяснил им, что его цель бить французов и когда он спросил, не забредали ли к ним французы, то староста сказал, что миродёры бывали точно, но что у них в деревне только один Тишка Щербатый занимался этими делами. Денисов велел позвать к себе Тихона и, похвалив его за его деятельность, сказал при старосте несколько слов о той верности царю и отечеству и ненависти к французам, которую должны блюсти сыны отечества.

— Мы французам худого не делаем, — сказал Тихон, видимо, оробев при этих словах Денисова. — Мы только так, значит, по охоте баловались с ребятами. Миродёров точно десятка два побили, а то мы худого не делали...

На другой день, когда Денисов, совершенно забыв про этого мужика, вышел из Покровского, ему доложили, что Тихон пристал к партии и просился, чтоб его при ней оставили. Денисов велел оставить его.

Тихон, сначала исправлявший чёрную работу раскладки костров, доставления воды, обдирания лошадей и т. п., скоро оказал большую охоту и способность к партизанской войне. Он по ночам уходил на добычу и всякий раз приносил с собой платье и оружие французское, а когда ему приказывали, то приводил и пленных. Денисов отставил Тихона от работ, стал брать его с собою в разъезды и зачислил в казаки.

Тихон не любил ездить верхом и всегда ходил пешком, никогда не отставая от кавалерии. В партии Денисова Тихон занимал своё особенное, исключительное место. Когда надо было сделать что-нибудь особенно трудное и гадкое — выворотить плечом из грязи повозку, за хвост вытащить из болота лошадь,

<sup>1</sup> Bestия — здесь: плут, ловкий, хитрый человек.

<sup>2</sup> Пластун — казак пеших частей казачьих войск; здесь: разведчик.

ободрать её, залезть в самую середину французов, пройти в день 50 вёрст, — все указывали, посмеиваясь, на Тихона.

— Что ему, чёрту, делается, меренина здоровенный, — говорили про него.

Один раз француз, которого брал Тихон, выстрелил в него из пистолета и попал ему в мякоть спины. Рана эта, от которой Тихон лечился только водкой, внутренно и наружно, была предметом самых весёлых шуток во всём отряде, и шуток, которым охотно поддавался Тихон.

Тихон был самый полезный и храбрый человек в партии. Никто больше его не открыл случаев нападения, никто больше его не побрал и не побил французов; и вследствие этого он был шут всех казаков, гусаров и сам охотно поддавался этому чину. Теперь Тихон был послан Денисовым, в ночь ещё, в Шамшево для того, чтобы взять языка. Но, или потому, что он не удовлетворился одним французом, или потому, что он проспал ночь, он днем залез в кусты, в самую середину французов и, как видел с горы Денисов, был открыт ими.

## Глава IX

Одевшись в французские шинели и кивера, Петя с Долоховым поехали на ту просеку, с которой Денисов смотрел на лагерь, и, выехав из леса в совершенной темноте, спустились в ложину. Съехав вниз, Долохов велел сопровождавшим его казакам дожидаться тут и поехал крупной рысью по дороге к мосту. Петя, замирая от волнения, ехал с ним рядом.

— Если попадёмся, я живым не отдамся, — у меня пистолет, — прошептал Петя.

— Не говори по-русски, — быстрым шопотом приговорил Долохов, и в ту же минуту в темноте послышался оклик «*qui vive?*»<sup>1</sup> и звон ружья.

Кровь бросилась в лицо Пети, и он схватился за пистолет.

— *Lanciers du 6-me*<sup>2</sup> — проговорил Долохов, не укорачивая и не прибавляя хода лошади. Чёрная фигура часового стояла на мосту.

— *Mot d'ordre?*<sup>3</sup> — Долохов придержал лошадь и поехал шагом.

— *Dites donc, le colonel Gérard est ici?*<sup>4</sup> — сказал он.

— *Mot d'ordre*, — не отвечая, сказал часовой, загоразивая дорогу.

— *Quand un officier fait sa ronde, les sentinelles ne demandent pas le mot d'ordre...* — крикнул Долохов, вдруг вспыхнув,

<sup>1</sup> Кто идёт?

<sup>2</sup> Уланы 6-го полка.

<sup>3</sup> Пароль?

<sup>4</sup> Скажите, здесь ли полковник Жерар?

наезжая лошадию на часового. Je vous demande, si le colonel est ici? <sup>1</sup>

И, не дожидаясь ответа от посторонившегося часового, Долохов шагом поехал в гору.

Заметив чёрную тень человека, переходящего через дорогу, Долохов остановил этого человека и спросил, где командир и офицеры. Человек этот, с мешком на плече, солдат, остановился, близко подошёл к лошади Долохова, дотрагиваясь до неё рукою, и просто и дружелюбно рассказал, что командир и офицеры были выше на горе с правой стороны, на дворе фермы (так он называл господскую усадьбу).

Проехав по дороге, с обеих сторон которой звучал от костров французский говор, Долохов повернул во двор господского дома. Проехав в ворота, он слез с лошади и подошёл к большому пылавшему костру, вокруг которого, громко разговаривая, сидело несколько человек. В котелке с краю варилось что-то, и солдат в колпаке и синей шинели, стоя на коленях, ярко освещённый огнём, мешал в нём шомполом.

— Oh, c'est un dur à cuir <sup>2</sup>, — говорил один из офицеров, сидевших в тени с противоположной стороны костра.

— Il les fera marcher les lapins <sup>3</sup> — со смехом сказал другой. Оба замолкли, взглядываясь в темноту на звук шагов Долохова и Пети, подходивших к костру с своими лошадьми.

— Bonjour, messieurs! <sup>4</sup> — громко, отчётливо выговорил Долохов.

Офицеры зашевелились в тени костра, и один высокий офицер с длинной шеей, обойдя огонь, подошёл к Долохову.

— C'est vous, Clément? — сказал он. — D'ou, diable... <sup>5</sup> — но он не закончил, узнав свою ошибку, и, слегка нахмурившись, как с незнакомым, поздоровался с Долоховым, спрашивая его, чем он может служить. Долохов рассказал, что он с товарищем догонял свой полк, и спросил, обращаясь ко всем вообще, не знали ли офицеры чего-нибудь о 6-м полку. Никто ничего не знал; и Пете показалось, что офицеры враждебно и подозрительно стали осматривать его и Долохова. Несколько секунд все молчали.

Но Долохов начал опять прекратившийся разговор и прямо стал расспрашивать, сколько у них людей в батальоне, сколько батальонов, сколько пленных. Спрашивая про пленных русских, которые были при их отряде, Долохов сказал:

— La vilaine affaire de traîner ces cadavres après soi. Vau-

<sup>1</sup> Когда офицер объезжает цепь, часовые не спрашивают пароль. Я спрашиваю, тут ли полковник?

<sup>2</sup> Ох, этот жёсток, не проваришь.

<sup>3</sup> Он заставит ходить кроликов. (Французская поговорка.)

<sup>4</sup> Здравствуйте, господа!

<sup>5</sup> Это вы, Клеман? Откуда, чорт...

drait mieux fusiller cette canaille<sup>1</sup>, — громко засмеялся таким странным смехом, что Пете показалось, французы сейчас узнают обман, и он невольно отступил на шаг от костра. Никто не ответил на слова и смех Долохова, и французский офицер, которого не видно было (он лежал, укутавшись шинелью), приподнялся и прошептал что-то товарищу. Долохов встал и крикнул солдата с лошадьми.

«Подадут или нет лошадей?» думал Петя, невольно приближаясь к Долохову.

Лошадей подали.

— Bonjour, messieurs<sup>2</sup>, — сказал Долохов.

Петя хотел сказать bonsoir<sup>3</sup> и не мог договорить слова. Офицеры что-то шопотом говорили между собою. Долохов долго садился на лошадь, которая не стояла; потом шагом поехал из ворот. Петя ехал подле него, желая и не смея оглянуться, чтобы увидеть, бегут или не бегут за ними французы.

Выехав на дорогу, Долохов поехал не назад в поле, а вдоль по деревне. В одном месте он остановился, прислушиваясь. «Слышишь?» сказал он. Петя узнал звуки русских голосов, увидел у костров тёмные фигуры русских пленных. Спустившись вниз к мосту, Петя с Долоховым проехали часового, который, ни слова не сказав, мрачно ходил по мосту, и выехали в лошину, где дожидались казаки.

— Ну, теперь прощай. Скажи Денисову, что на заре, по первому выстрелу, — сказал Долохов и хотел ехать, но Петя схватился за него рукою.

— Нет! — вскрикнул он, — вы такой герой. Ах, как хорошо! как отлично! Как я вас люблю.

— Хорошо, хорошо, — сказал Долохов.

Петя не отпускал его, и в темноте Долохов рассмотрел, что Петя нагибался к нему. Он хотел поцеловаться. Долохов поцеловал его, засмеялся и, повернув лошадь, скрылся в темноте.

## X

— Вот и командир, — сказал Лихачёв.

Из караулки вышел Денисов и, окликнув Петю, приказал собираться.

## XI

Быстро в полутьме разобрали лошадей, подтянули подпруги и разобрались по командам. Денисов стоял у караулки, отдавая последние приказания. Пехота партии, шлёпая сотней ног, про-

<sup>1</sup> Скверное дело таскать за собой эти трупы. Лучше бы расстрелять эту сволочь.

<sup>2</sup> Прощайте, господа.

<sup>3</sup> Добрый вечер.

шла вперёд по дороге и быстро скрылась между деревьев в предрассветном тумане. Есаул что-то приказывал казакам. Петя держал свою лошадь в поводу, с нетерпением ожидая приказа садиться. Обмытое холодной водой лицо его, в особенности глаза горели огнём, озноб пробежал по спине, и во всём теле что-то быстро и равномерно дрожало.

— Ну, готово у вас всё? — сказал Денисов. — Давай лошадей.

Лошадей подали. Денисов рассердился на казака за то, что подпруги были слабы, и, разбранив его, сел. Петя взялся за стремя. Лошадь, по привычке, хотела куснуть его за ногу, но Петя, не чувствуя своей тяжести, быстро вскочил в седло и, оглядываясь на тронувшихся сзади в темноте гусар, подъехал к Денисову.

— Василий Фёдорович, вы мне поручите что-нибудь? Пожалуйста . . . ради бога . . . — сказал он. Денисов, казалось, забыл про существование Пети. Он оглянулся на него.

— Об одном тебя прошу, — сказал он строго: — слушаться меня и никуда не соваться.

Во всё время переезда Денисов ни слова не говорил больше с Петей и ехал молча. Когда подъехали к опушке леса, в поле заметно уже стало светать. Денисов поговорил что-то шопотом с есаулом, и казаки стали проезжать мимо Пети и Денисова. Когда они все проехали, Денисов тронул свою лошадь и поехал под гору. Садясь на зады и скользя, лошади спускались с своими седоками в лощину. Петя ехал рядом с Денисовым. Дрожь во всём его теле всё усиливалась. Становилось всё светлее и светлее, только туман скрывал отдалённые предметы. Съехав вниз и оглянувшись назад, Денисов кивнул головой казаку, стоявшему подле него.

— Сигнал! — проговорил он. Казак поднял руку, раздался выстрел. И в то же мгновение послышался топот впереди поскакавших лошадей, крики с разных сторон и ещё выстрелы.

В то же мгновение, как раздались первые звуки топота и крика, Петя, ударив свою лошадь и выпустив поводья, не слушая Денисова, кричавшего на него, поскакал вперёд. Пете показалось, что вдруг совершенно, как середь дня, ярко рассвело в ту минуту, как послышался выстрел. Он подскакал к мосту. Впереди по дороге скакали казаки. На мосту он стокнулся с отставшим казаком и поскакал дальше. Впереди какие-то люди — должно быть, это были французы, бежали с правой стороны дороги на левую. Один упал в грязь под ногами Петиной лошади.

У одной избы столпились казаки, что-то делая. Из середины толпы послышался страшный крик. Петя подскакал к этой толпе и первое, что он увидел, было бледное, с трясущейся нижней

челюстью, лицо француза, державшегося за древко направленной на него пики.

— Ура!.. Ребята... наши... — прокричал Петя и, дав поводья разгорячившейся лошади, поскакал вперёд по улице.

Впереди слышны были выстрелы. Казаки, гусары и русские оборванные пленные, бежавшие с обеих стороны дороги, все громко и нескладно кричали что-то, Молодцеватый, без шапки, с красным нахмуренным лицом, француз в синей шинели отбивался штыком от гусар. Когда Петя подскакал, француз уже упал. «Опять опоздал», мелькнуло в голове Пети, и он поскакал туда, откуда слышались частые выстрелы. Выстрелы раздавались на дворе того барского дома, на котором он был вчера ночью с Долоховым. Французы засели там за плетнём в густом, заросшем кустами, саду и стреляли по казакам, столпившимся у ворот. Подъезжая к воротам, Петя в пороховом дыму увидел Долохова, с бледным, зеленоватым лицом, кричавшего что-то людям. «В объезд! Пехоту подождать!» кричал он в то время, как Петя подъехал к нему.

— Подождать?.. Урааа!.. — закричал Петя и, не медля ни одной минуты, поскакал к тому месту, откуда слышались выстрелы и где гуще был пороховой дым. Послышался залп, провизжали пустые и во что-то шлёпнувшие пули. Казаки и Долохов вскакали вслед за Петей в ворота дома. Французы, в колеблющемся густом дыме, одни бросали оружие и выбегали из кустов навстречу казакам, другие — бежали под гору к пруду. Петя скакал на своей лошади вдоль по барскому двору и, вместо того, чтобы держать поводья, странно и быстро махая обеими руками и всё дальше и дальше сбивался с седла на одну сторону. Лошадь, набежав на тлевший в утреннем свете костёр, упёрлась, и Петя тяжело упал на мокрую землю. Казаки видели, как быстро задёрнулись его руки и ноги, несмотря на то, что голова его не шевелилась. Пуля пробила ему голову.

Переговоривши с старшим французским офицером, который вышел к нему из-за дома с платком на шпаге и объявил, что они сдаются, Долохов слез с лошади и подошёл к неподвижно, с раскинутыми руками, лежавшему Пете.

— Готов, — сказал он, нахмурившись, и пошёл в ворота навстречу ехавшему к нему Денисову.

— Убит?! — вскрикнул Денисов, увидав ещё издали то знакомое ему, несомненно безжизненное положение, в котором лежало тело Пети.

— Готов, — повторил Долохов, как будто выговаривание этого слова доставляло ему удовольствие, и быстро прошёл к пленным, которых окружили спешившиеся казаки. — Брать не будем! — крикнул он Денисову.

Денисов не отвечал; он подъехал к Пете, слез с лошади и

дрожащими руками повернул к себе запачканное кровью и грязью, уже побледневшее лицо Пети.

«Я привык что-нибудь сладкое. Отличный изюм, берите весь», вспомнилось ему. И казаки с удивлением оглянулись на звуки, похожие на собачий лай, с которыми Денисов быстро отвернулся, подошёл к плетню и схватился за него.

В числе отбитых Денисовым и Долоховым русских пленных был Пьер Безухов.

## ТАЙНОЕ ОБЩЕСТВО

(Эпилог, часть первая, глава XIV.)

Действие в эпилоге происходит спустя семь лет после 1812 года. В России наступила реакция. Царское правительство, напуганное волнениями крестьян и рабочих, усилением революционной борьбы в Западной Европе, установило режим аракчеевщины.

В семье Ростовых многое изменилось. В 1813 году Наташа вышла замуж за Пьера Безухова. В тот же год умер отец Наташи, граф Илья Андреевич. Николай, бывший с русскими войсками в Париже, подал в отставку и вернулся в Москву. Чтобы расплатиться с большими долгами, Николай продал имение, взял у Безухова большую сумму денег и поступил на службу. Осенью 1814 года он женился на Марье Болконской и переехал на житьё в Лысые Горы. Вместе с ними жил и сын Андрея Болконского, Николинька, которому к 1820 году было пятнадцать лет. К этому же году у Наташи было уже три дочери и сын, у Марьи сын и дочь.

Все они собрались в Лысых Горах у Ростовых. Приехал и Денисов, дослужившийся к этому времени до генеральского чина.

Вскоре после этого дети пришли прощаться. Дети перещеловались со всеми, гувернёры и гувернантки раскланялись и вышли. Оставался один Дессаль со своим воспитанником. Гувернёр шёпотом приглашал своего воспитанника идти вниз.

— Non, m-r Dessales, je demanderai a ma tante de rester <sup>1</sup>, — отвечал также шёпотом Николинька Болконский.

— Ma tante, позвольте мне остаться, — сказал Николинька, подходя к тётке. Лицо его выражало мольбу, волнение и восторг. Графиня Марья поглядела на него и обратилась к Пьеру.

— Когда вы тут, он оторваться не может... — сказала она ему.

— Je vous le ramènerai tout-à-l'heure, m-r Dessales; bonsoir <sup>2</sup>, — сказал Пьер, подавая швейцарцу руку и, улыбаясь, обратился к Николиньке. — Мы совсем не видались с тобой. Мари, как он похож становится, — прибавил он, обращаясь к графине Марье.

<sup>1</sup> — Нет, месье Дессаль, я попрошусь у тётеньки остаться...

<sup>2</sup> — Я сейчас приведу вам его, месье Дессаль; спокойной ночи, —

— На отца? — сказал мальчик, багрово вспыхнув и снизу вверх глядя на Пьера восхищёнными, блестящими глазами. Пьер кивнул ему головой и продолжал прерванный детьми рассказ. Графиня Марья работала на руках по канве; Наташа, не спуская глаз, смотрела на мужа. Николай и Денисов вставали, спрашивали трубки, курили, брали чай у Сони, сидевшей уныло и упорно за самоваром, и расспрашивали Пьера. Кудрявый, болезненный мальчик, со своими блестящими глазами, сидел никем не замечаемый в уголку, и только, поворачивая кудрявую голову на тонкой шее, выходившей из отложных воротничков, в ту сторону, где был Пьер, он изредка вздрагивал и что-то шептал сам с собою, видимо испытывая какое-то новое и сильное чувство.

Разговор вертелся на той современной сплетне из высшего управления, в которой большинство людей видит обыкновенно самый важный интерес внутренней политики. Денисов, недовольный правительством за свои неудачи по службе, с радостью узнавал все глупости, которые, по его мнению, делались теперь в Петербурге, и в сильных и резких выражениях делал свои замечания на слова Пьера.

— Прежде немцем надо было быть, теперь надо плясать с Татариновой и Крюднер<sup>1</sup>, читать... Экарстгаузена и братию. Ох! спустил бы опять молодца нашего Бонапарта. Он бы всю дурь повыбил. Ну на что похоже солдату Шварцу дать Семёновский полк?<sup>3</sup> — кричал он.

Николай, хотя без того желания находить всё дурным, которое было у Денисова, считал также весьма достойным и важным делом посудить о правительстве и считал, что то, что А. назначен министром того-то, а что Б. генерал-губернатором туда-то и что государь сказал то-то, а министр то-то, что всё это дела очень значительные. И он считал нужным интересоваться этим и расспрашивал Пьера. За расспросами этих двух собеседников разговор не выходил из этого обычного характера сплетни высших, правительственных сфер.

Но Наташа, знавшая все приёмы и мысли своего мужа, видела, что Пьер давно хотел и не мог вывести разговор на другую дорогу и высказать свою задушевную мысль, ту самую, для которой он и ездил в Петербург советоваться с новым другом своим князем Фёдором, и она помогла ему вопросом: что же его дело с князем Фёдором?

— О чём это? — спросил Николай.

— Всё о том же и о том же, — сказал Пьер, оглядываясь

---

<sup>1</sup> Татаринова — основательница религиозного общества — духовного союза. Крюднер — баронесса, увлекающаяся религиозными собраниями и заклинаниями «духов». Имела влияние на Александра I, осуществившего впоследствии её идею Священного союза.

<sup>2</sup> Семёновский полк был организован из потешных Петра I в 1683 году; в 1700 году ему присвоено название лейб-гвардейского.

вокруг себя. — Все видят, что дела идут скверно, что это нельзя так оставить и что обязанность всех честных людей противодействовать по мере сил.

— Что же честные люди могут сделать? — слегка нахмурившись, сказал Николай, — что же можно сделать?

— А вот что...

— Пойдёмте в кабинет, — сказал Николай.

Наташа, уже давно угадывавшая, что её придут звать кормить, услышала зов няни и пошла в детскую. Графиня Марья пошла с нею. Мужчины пошли в кабинет, и Николинька Болконский, незамеченный дядей, пришёл туда же и сел в тени, к окну, у письменного стола.

— Ну что ж ты сделаешь? — сказал Денисов.

— Вечно фантазии, — сказал Николай.

— Вот что, начал Пьер, не садясь и то ходя по комнате, то останавливаясь, шепелявя и делая быстрые жесты руками в то время, как говорил. — Вот что. Положение в Петербурге вот какое: государь ни во что не входит. Он весь предан этому мистицизму (мистицизма Пьер никому не прощал теперь). Он ищет только спокойствия, и спокойствие ему могут дать только те люди *sans foi ni loi*<sup>1</sup>, которые рубят и душат всё сплеча: Магницкий, Аракчеев и *tutti quanti*<sup>2</sup>. Ты согласен, что ежели бы ты сам не занимался хозяйством, а хотел только спокойствия, то чем жесточе бы был твой бурмистр, тем скорее ты бы достиг цели, — обратился он к Николаю.

— Ну, да к чему ты это говоришь? — сказал Николай.

— Ну, и всё гибнет. В судах воровство, в армии одна палка: шагистика, поселения, мучат народ; просвещение душат. Что молодо, честно, то губят! Все видят, что это не может так идти. Всё слишком натянуто и непременно лопнет, — говорил Пьер (как всегда, взглядевшись в действия какого бы то ни было правительства, говорят люди с тех пор, как существует правительство). — Я одно говорил им в Петербурге.

— Кому? — спросил Денисов.

— Ну, вы знаете кому, — сказал Пьер, значительно взглядывая исподлбья: князю Фёдору и им всем. — Соревновать просвещению и благотворительности, всё это хорошо, разумеется. Цель прекрасная и всё; но в настоящих обстоятельствах надо другое.

В это время Николай заметил присутствие племянника. Лицо его сделалось мрачно: он порожёл к нему.

— Зачем ты здесь?

— Отчего? Оставь его, — сказал Пьер, взяв за руку Николая, и продолжал: — этого мало, я им говорю: теперь нужно другое. Когда вы стоите и ждёте, что вот-вот лопнет эта натяну-

<sup>1</sup> Без совести и чести.

<sup>2</sup> И тому подобные.

тая струна; когда все ждут неминуемого переворота, надо как можно теснее и больше народа взяться рука с рукой, чтобы противостоять общей катастрофе. Всё молодое, сильное притягивается туда и разворачивается. Одного соблазняют женщины, другого почести, третьего тщеславие, деньги, и они переходят в тот лагерь. Независимых, свободных людей, как вы и я, совсем не остаётся. Я говорю: расширьте круг общества; *Mot d'ordre*<sup>1</sup> пусть будет не одна добродетель, но независимость и деятельность.

Николай, оставив племянника, сердито передвинул кресло, сел в него и, слушая Пьера, недовольно покашливал и всё больше и больше хмурился.

Наташа, в середине разговора вошедшая в комнату, радостно смотрела на мужа. Она не радовалась тому, что он говорил. Это даже не интересовало её, потому что ей казалось, что всё это было чрезвычайно просто и что она всё это давно знала (ей казалось это потому, что она знала всё то, из чего это выходило — всю душу Пьера); но она радовалась, глядя на его оживлённую, восторженную фигуру.

Ещё более радостно-восторженно смотрел на Пьера забытый всеми мальчик, с тонкою шеей, выходявшею из отложных воротничков. Всякое слово Пьера жгло его сердце, и он нервным движением пальцев ломал — сам не замечая этого — попадавшие ему в руки сургучи и перья на столе дяди.

Когда все поднялись к ужину, Николинька Болконский подошёл к Пьеру, бледный, с блестящими, лучистыми глазами.

— Дядя Пьер... вы... нет... Ежели бы папа был жив... Он бы согласен был с вами? — спросил он.

Пьер вдруг понял, какая особенная, независимая, сложная и сильная работа чувства и мысли должна была происходить в этом мальчике во время разговора и, вспомнив всё, что он говорил, ему стало досадно, что мальчик слышал его. Однако надо было ответить ему.

— Я думаю, что да, — сказал он неохотно, — и вышел из кабинета.

Мальчик нагнул голову и тут в первый раз как будто заметил, что он наделал на столе. Он вспыхнул и подошёл к Николаю.

— Дядя, извини меня, это я сделал — нечаянно, — сказал он, показывая на поломанные сургучи и перья.

Николай сердито вздрогнул.

— Хорошо, хорошо, — сказал он, бросая под стол куски сургуча и перья. И видимо, с трудом удерживая поднятый в нём гнев, он отвернулся от него.

— Тебе тут и быть вовсе не следовало, — сказал он.

---

<sup>1</sup> Лозунг.

## А. П. ЧЕХОВ

(1818—1883)

### «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»

(в отрывках)

... Он был замечателен тем, что всегда, даже в очень хорошую погоду, выходил в калошах и с зонтиком и непременно в тёплом пальто на вате. И зонтик у него был в чехле, и часы в чехле из серой замши, и когда вынимал перочинный нож, чтобы очинить карандаш, то и нож у него был в чехольчике; и лицо, казалось, тоже было в чехле, так как он всё время прятал его в поднятый воротник. Он носил тёмные очки, фуфайку, уши закладывал ватой и когда садился на извозчика, то приказывал поднимать верх. Одним словом, у этого человека наблюдалось постоянное и непреодолимое стремление окружить себя оболочкой, создать себе, так сказать, футляр, который уединил бы его, защитил бы от внешних влияний. Действительность раздражала его, пугала, держала в постоянной тревоге, и быть может, для того, чтобы оправдать эту свою робость, своё отвращение к настоящему, он всегда хвалил прошлое и то, чего никогда не было; и древние языки, которые он преподавал, были для него в сущности те же калоши и зонтик, куда он прятался от действительной жизни.

— О, как звучен, как прекрасен греческий язык! — говорил он со сладким выражением; и, как бы в доказательство своих слов, прищуривал глаза и, подняв палец, произносил: «Антропос!»<sup>1</sup>

— Беликов жил в том же доме, где и я, — продолжал Буркин, — в этом же этаже, дверь против двери, мы часто виделись, и я знал его домашнюю жизнь. И дома та же история: халат, колпак, ставни, задвижки, целый ряд всяких запрещений, ограничений, и — ах, как бы чего не вышло. Постное<sup>2</sup> есть вредно, а

<sup>1</sup> Антропос (по-гречески) — человек.

<sup>2</sup> Скоромное, постное. — В христианской религии существует правило, согласно которому в определённые дни нельзя есть некоторые виды пищи: мясо, молоко, яйца, сало. Эта пища называется «скоромною», или «скоромное». Такие дни, когда нельзя есть эти продукты, называются «постными», и пища, которую разрешается есть в эти дни, называется «постною», или просто «постное» (рыба, овощи, растительное масло).

скоромное нельзя, так как, пожалуй, скажут, что Беликов не исполняет постов, и он ел судака на коровьем масле, — пища не постная, но и нельзя сказать, чтобы скоромная. Женской прислуги он не держал из страха, чтобы о нём не думали дурно, а держал повара Афанасия, старика лет шестидесяти, нетрезвого и полоумного, который когда-то служил в денщиках и умел кое-как стряпать.

И этот учитель греческого языка, этот человек в футляре, можете себе представить, едва не женился.

Иван Иванович быстро оглянулся в сарай и сказал:

— Шутите!

— Да, едва не женился, как это ни странно. Назначили к нам нового учителя истории и географии, некоего Коваленко Михаила Саввича, из хохлов<sup>1</sup>. Приехал он не один, а с сестрой Варенькой. Он молодой, высокий, смуглый, с громадными руками, и по лицу видно, что говорит басом, и в самом деле, голос как из бочки: бу-бу-бу... А она уже не молодая, лет тридцати, но тоже высокая, стройная, чернобровая, краснощёкая, — одним словом, не девица, а мармелад, и такая разбитная, шумная, всё поёт малороссийские романсы и хохочет. Чуть что, так и зальётся голосистым смехом: ха-ха-ха...

Оказалось, что Варенька непрочь была замуж. И то сказать, для большинства наших барышень за кого ни выйти, лишь бы выйти. Как бы ни было, Варенька стала оказывать нашему Беликову явную благосклонность.

А Беликов? Он и к Ковалеву ходил так же, как к нам. Придёт к нему, сядет и молчит. Он молчит, а Варенька поёт ему «Виют витры», или глядит на него задумчиво своими тёмными глазами, или вдруг зальётся:

— Ха-ха-ха!

В любовных делах, а особенно в женитьбе, внушение играет большую роль. Все — и товарищи и дамы — стали уверять Беликова, что он должен жениться; что ему ничего больше не остаётся в жизни, как жениться; все мы поздравляли его, говорили с важными лицами разные пошлости, вроде того-де, что брак есть шаг серьёзный, к тому же Варенька была недурна собой, интересна, она была дочь статского советника<sup>2</sup> и имела хутор, а главное, это была первая женщина, которая отнеслась к нему ласково, сердечно, — голова у него закружилась, и он решил, что ему в самом деле нужно жениться.

— Вот тут бы и отобрать у него калоши и зонтик, — проговорил Иван Иванович.

— Представьте, это оказалось невозможным. Он поставил у себя на столе портрет Вареньки и всё ходил ко мне и гово-

<sup>1</sup> Хохлы — здесь: старое пренебрежительное название украинцев.

<sup>2</sup> Статский советник — гражданский чин в старой, царской России, предшествующий генеральскому.

рил о Вареньке, о семейной жизни, о том, что брак есть шаг серьёзный, часто бывал у Коваленков, но образа жизни не изменил нисколько. Даже, наоборот, решение жениться подействовало на него как-то болезненно, он похудел, побледнел и, казалось, ещё глубже ушёл в свой футляр.

— Варвара Саввишна мне нравится, — говорил он мне со слабой, кривой улыбочкой, — и я знаю, жениться необходимо каждому человеку, но... всё это, знаете ли, произошло как-то вдруг... Надо подумать.

— Что же тут думать? — говорю ему. — Женитесь, вот и всё.

— Нет, женитьба — шаг серьёзный, надо сначала взвесить предстоящие обязанности, ответственность... чтобы потом чего не вышло. Это меня так беспокоит, я теперь все ночи не сплю. И признаться, я боюсь: у неё с братом какой-то странный образ мыслей, рассуждают они как-то, знаете ли, странно, и характер очень бойкий. Женишься, а потом чего доброго попадёшь в какую-нибудь историю.

И он не делал предложения, всё откладывал, к великой досаде директорши и всех наших дам; всё взвешивал предстоящие обязанности и ответственность и между тем почти каждый день гулял с Варенькой, быть может, думал, что это так нужно в его положении...

... Через месяц Беликов умер. Хоронили мы его все, то-есть обе гимназии и семинария. Теперь, когда он лежал в гробу, выражение у него было кроткое, приятное, даже весёлое, точно он был рад, что, наконец, его положили в футляр из которого он уже никогда не выйдет. Да, он достиг своего идеала! И как бы в честь его, во время похорон была пасмурная, дождливая погода, и все мы были в калошах и с зонтами. Варенька тоже была на похоронах и, когда гроб опускали в могилу, всплакнула. Я заметил, что хохлушки только плачут или хохочут, среднего же настроения у них не бывает.

Признаюсь, хоронить таких людей, как Беликов, это большое удовольствие. Когда мы возвращались с кладбища, то у нас были скормные, постные физиономии; никому не хотелось обнаружить этого чувства удовольствия, — чувства, похожего на то, какое мы испытывали давно-давно, ещё в детстве, когда старшие уезжали из дому и мы бегали по саду час-другой, наслаждаясь полною свободой. Ах, свобода, свобода! Даже намёк, даже слабая надежда на её возможность даёт душе крылья, не правда ли?

Вернулись мы с кладбища в добром расположении. Но прошло не больше недели, и жизнь потекла по-прежнему, такая же суровая, утомительная, бестолковая, жизнь, не запрещённая циркулярно, но и не разрешённая вполне; не стало лучше. И в

самом деле, Беликова похоронили, а сколько ещё таких человек в футляре осталось, сколько их ещё будет!

— То-то вот оно и есть, — сказал Иван Иваныч и закурил трубку.

— Сколько их ещё будет! — повторил Буркин.

Учитель гимназии вышел из сарая. Это был человек небольшого роста, толстый, совершенно лысый, с чёрной бородой чуть не по пояс; и с ним вышли две собаки.

— Луна-то, луна! — сказал он, глядя вверх.

Была уже полночь. Направо видно было всё село, длинная улица тянулась далеко, вёрст на пять. Всё было погружено в тихий, глубокий сон; ни движения, ни звука, даже не верится, что в природе может быть так тихо. Когда в лунную ночь видишь широкую сельскую улицу с её избами, стогами, уснувшими ивами, то на душе становится тихо; в этом своём покое, укравшись в ночных тенях от трудов, забот и горя, она кротка, печальна, прекрасна, и кажется, что и звёзды смотрят на неё ласково, с умилением и что зла уже нет на земле и всё благополучно. Налево с края села начиналось поле; оно было видно далеко, до горизонта, и во всю ширь этого поля, залитого лунным светом, тоже ни движения, ни звука.

— То-то вот оно и есть, — повторил Иван Иваныч. — А разве то, что мы живём в городе, в духоте, в тесноте, пишем ненужные бумаги, играем в винт<sup>1</sup>, — разве это не футляр? А то, что мы проводим всю жизнь среди бездельников, сутяг<sup>2</sup>, глупых, праздных женщин, говорим и слушаем разный вздор, — разве это не футляр?

---

<sup>1</sup> Винт — здесь: карточная игра.

<sup>2</sup> Сутяга — человек, который любит затевать судебные дела и судиться без достаточных для этого оснований (в старину говорили тягаться).

## А. М. ГОРЬКИЙ

(1868—1936)

### ЛЕГЕНДА О ГОРЯЩЕМ СЕРДЦЕ

(Из рассказа «Старуха Изергиль».)

... С моря поднималась туча— чёрная, тяжёлая, суровых очертаний, похожая на горный хребет. Она ползла в степь. С её вершины срывались клочья облаков, неслись вперёд её и гасили звёзды одну за другой. Море шумело. Недалеко от нас, в лозах винограда, целовались, шептали и вздыхали. Глубоко в степи выла собака ... Воздух раздражал нервы странным запахом, щекотавшим ноздри. От облаков падали на землю густые стаи теней и ползли по ней, ползли, исчезали, являлись снова... На месте луны осталось только мутное опаловое пятно, иногда его совсем закрывал сизый клочок облака. И в степной дали, теперь уже чёрной и страшной, как бы притаившейся, скрывшей в себе что-то, вспыхивали маленькие голубые огоньки. То там, то тут они на миг являлись и гасли, точно несколько людей, рассыпавшихся по степи далеко друг от друга, искали в ней что-то, зажигая спички, которые ветер тотчас же гасил. Это были очень странные голубые языки огня, намекавшие на что-то сказочное.

— Видишь ты искры? — спросила меня Изергиль.

— Вон те, голубые? — указывая ей на степь, сказал я.

— Голубые? Да, это они... Значит, летают всё-таки! Ну-ну... Я уже вот не вижу их больше. Не могу я теперь многого видеть.

— Откуда эти искры? — спросил я старуху.

Я слышал кое-что раньше о происхождении этих искр, но мне хотелось послушать, как расскажет о том же старая Изергиль.

— Эти искры от горящего сердца Данко. Было на свете сердце, которое однажды вспыхнуло огнём... И вот от него эти искры. Я расскажу тебе про это... Тоже старая сказка... Старое, всё старое! Видишь ты, сколько в старине всего?... А теперь, вот, нет ничего такого — ни дел, ни людей, ни сказок таких, как в старину... Почему?... Ну-ка, скажи! Не скажешь... Что ты знаешь? Что все вы знаете, молодые? Эхе-хе!.. Смотрели бы в старину зорко — там все отгадки найдутся... А вот вы не

смотрите и не умеете жить оттого... Я не вижу разве жизнь? Ох, всё вижу, хоть и плохи мои глаза! И вижу я, что не живут люди, а всё примеряются, примеряются и кладут на это всю жизнь. И когда обворуют сами себя, истратив время, то начнут плакаться на судьбу. Что же тут — судьба? Каждый сам себе судьба! Всяких людей я нынче вижу, а вот сильных нет! Где же они?.. И красавцев становится всё меньше.

Старуха задумалась о том, куда девались из жизни сильные, красивые люди, и, думая, осматривала тёмную степь, как бы ища в ней ответа.

Я ждал её рассказа и молчал, боясь, что, если спрошу её о чём-либо, она опять отвлечётся в сторону.

И вот она начала рассказ.

\* \*  
\*

«Жили на земле в старину одни люди, непроходимые леса окружали с трёх сторон таборы этих людей, а с четвёртой — была степь. Были это весёлые, сильные, смелые люди. И вот пришла однажды тяжёлая пора: явились откуда-то иные племена и прогнали прежних в глубь леса. Там были болота и тьма, потому что лес был старый, и так густо переплелись его ветви, что сквозь них не видать было неба, и лучи солнца едва могли пробить себе дорогу до болот сквозь густую листву. Но когда его лучи падали на воду болот, то подымался смрад, и от него люди гибли один за другим. Тогда стали плакать жёны и дети этого племени, а отцы задумались и впали в тоску. Нужно было уйти из этого леса, и для того были две дороги: одна — назад, — там были сильные и злые враги, другая — вперёд, — там стояли великаны-деревья, плотно обняв друг друга могучими ветвями, опустив узловатые корни глубоко в цепкий ил болота. Эти каменные деревья стояли молча и неподвижно днём, в сером сумраке, и ещё плотнее сдвигались вокруг людей по вечерам, когда загорались костры. И всегда, днём и ночью, вокруг тех людей было кольцо крепкой тьмы, оно точно собиралось раздавить их, а они привыкли к степному простору. А ещё страшнее было, когда ветер бил по вершинам деревьев и весь лес глухо гудел, точно грозил и пел похоронную песню тем людям. Это были всё-таки сильные люди и могли бы они пойти биться насмерть с теми, что однажды победили их, но они не могли умереть в боях, потому что у них были заветы, и коли б умерли они, то пропали б с ними из жизни и заветы. И потому они сидели и думали в длинные ночи, под глухой шум леса в ядовитом смраде болота. Они сидели, а тени от костров прыгали вокруг них в безмолвной пляске, и всё казалось, что это не тени пляшут, а торжествуют злые духи леса и болота... Люди всё

сидели и думали. Но ничто — ни работа, ни женщины — не изнуряют тела и души людей так, как изнуряют тоскливые думы. И ослабли люди от дум. . . Страх родился среди них, сковал им крепкие руки, ужас родили женщины плачем над трупами умерших от смрада и над судьбой скованных страхом живых, — и трусливые слова стали слышны в лесу, сначала робкие и тихие, а потом всё громче и громче. . . Уже хотели идти к врагу и принести ему в дар волю свою, и никто уже, испуганный смертью, не боялся рабской жизни. . . Но тут явился Данко и спас всех один».

Старуха, очевидно, часто рассказывала о горящем сердце Данко. Она говорила певуче, и голос её, скрипучий и глухой, ясно рисовал предо мной шум леса, среди которого умирали от ядовитого дыхания болота несчастные, загнанные люди. . .

«Данко — один из тех людей, молодой красавец. Красивые — всегда смелы. И вот он говорит им, своим товарищам:

— Не своротить камня с пути думаю. Кто ничего не делает, с тем ничего не станется. Что мы тратим силы на думу на тоску? Вставайте, пойдём в лес и пройдем его сквозь, ведь имеет же он конец — всё на свете имеет конец! Идёмте! Ну! Гей. . .

Посмотрели на него и увидали, что он лучший из всех, потому что в очах его светилось много силы и живого огня.

— Веди ты нас! — сказали они.

Тогда он повёл. . .»

Старуха помолчала и посмотрела в степь, где всё густела тьма. Искорки горящего сердца Данко вспыхивали где-то далеко и казались голубыми воздушными цветами, расцветая только на миг.

«Повёл их Данко. Дружно все пошли за ним — верили в него. Трудный путь это был! Темно было, и на каждом шагу болото разевало свою жадную гнилую пасть, глотая людей, и деревья заступали дорогу могучей стеной. Переплелись их ветки между собой; как змеи, протянулись всюду корни, и каждый шаг много стоил пота и крови тем людям. Долго шли они. . . Всё гуще становился лес, всё меньше было сил! И вот стали роптать на Данко, говоря, что напрасно он, молодой и неопытный, повёл их куда-то. Аа он шёл впереди их и был бодр и ясен.

«Но однажды гроза грянула над лесом, зашептали деревья глухо, грозно. И стало тогда в лесу так темно, точно в нём собрались сразу все ночи, сколько их было на свете с той поры, как он родился. Шли маленькие люди между больших деревьев и в грозном шуме молний, шли они, и, качаясь, великаны-деревья скрипели и гудели сердитые песни, а молнии, летая над вершинами леса, освещали его на минутку синим, холодным огнём и исчезали так же быстро, как являлись, пугая людей. И деревья, освещённые холодным огнём молний, казались живыми,

простирающими вокруг людей, уходивших из плена тьмы, корявые, длинные руки, сплетая их в густую сеть, пытаюсь остановить людей. А из тьмы ветвей смотрело на идущих что-то страшное, тёмное и холодное. Это был трудный путь, и люди, утомлённые им, пали духом. Но им стыдно было сознаться в бессилии, и вот они в злобе и гневѣ обрушились на Данко, человека, который шёл впереди их. И стали они упрекать его в неумении управлять ими, — вот как!

«Остановились они и под торжествующий шум леса, среди дрожащей тьмы, усталые и злые, стали судить Данко.

«— Ты, — сказали они, — ничтожный и вредный человек для нас! Ты повёл нас и утомил, и за это ты погибнешь!

«— Вы сказали: «веди» — и я повёл! — крикнул Данко, становясь против них грудью. — Во мне есть мужество вести, вот потому я повёл вас! А вы? Что сделали вы в помощь себе? Вы только шли и не умели сохранить силы на путь более долгий! Вы только шли, шли, как стадо овец!

«Но эти слова разъярили их ещё более.

«— Ты умрёшь! Ты умрёшь! — ревели они.

«А лес всё гудел и гудел, вторя их крикам, и молнии разрывали тьму в клочья. Данко смотрел на тех, ради которых он понёс труд, и видел, что они — как звери. Много людей стояло вокруг него, но не было на лицах их благородства и нельзя было ему ждать пощады от них. Тогда и в его сердце вскипело негодование, но от жалости к людям оно погасло. Он любил людей и думал, что может быть без него они погибнут. И вот его сердце вспыхнуло огнём желания спасти их, вывести на лёгкий путь, и тогда в его очах засверкали лучи того могучего огня. . . А они, увидев это, подумали, что он рассвирепел, отчего так ярко и разгорелись очи, и они насторожились, как волки, ожидая, что он будет бороться с ними, и стали плотнее окружать его, чтобы легче им было схватить и убить Данко. А он уже понял их думу, оттого ещё ярче загорелось в нём сердце, ибо эта их дума родила в нём тоску.

«А лес всё пел свою мрачную песню, и гром гремел, и лил дождь. . .

«— Что сделаю я для людей!? — сильнее грома крикнул Данко.

«И вдруг он разорвал руками себе грудь и вырвал из неё своё сердце и высоко поднял его над головой.

«Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лес замолчал, освещённый этим факелом великой любви к людям, а тьма разлеталась от света его и там, глубоко в лесу, дрожащая, пала в гнилой зев болота. Люди же, изумлённые, стали как камни.

«— Идём! — крикнул Данко и бросился вперёд на своё место, высоко держа горящее сердце и освещая им путь людям.

«Они бросились за ним, очарованные. Тогда лес снова зашумел, удивлённо качая вершинами, но его шум был заглушён топотом бегущих людей. Все бежали быстро и смело, увлекаемые чудесным зрелищем горящего сердца. И теперь гибли, но гибли без жалоб и слёз. А Данко всё был впереди, и сердце его всё пылало, пылало!

«И вот вдруг лес расступился перед ним, расступился и остался сзади, плотный и немой, а Данко и все те люди сразу окупнулись в море солнечного света и чистого воздуха, промывтого дождём. Гроза была — там, сзади них, над лесом, а тут сияло солнце, вздыхала степь, блестела трава в брильянтах дождя, и золотом сверкала река... Был вечер, и от лучей заката река казалась красной, как та кровь, что била горячей струёй из разорванной груди Данко.

«Кинул взор вперёд себя на ширь степи гордый смельчак Данко, — кинул он радостный взор на свободную землю и засмеялся гордо. А потм упал и — умер.

«Люди же, радостные и полные надежд, не заметили смерти его и не видали, что ещё пылает рядом с трупом Данко его смелое сердце. Только один осторожный человек заметил это и, боясь чего-то, наступил на гордое сердце ногой... И вот оно, рассыпавшись в искры, угасло...

«Вот откуда они, голубые искры степи, что являются перед грозой!»

## В. И. ЛЕНИН

Владимир Ленин умер.

Даже некоторые из стана врагов его честно признают: в лице Ленина мир потерял человека, «который среди всех современных ему великих людей наиболее ярко воплощал в себе гениальность...»

До этого года я не встречал Ленина, да и читал его не так много, как бы следовало. Но то, что удалось мне прочитать, а особенно восторженные рассказы товарищей, которые лично знали его, потянуло меня к нему с большой силой. Когда нас познакомили, он, крепко стиснув мою руку, прощупывая меня зоркими глазами, заговорил тоном старого знакомого, шутивно:

— Это хорошо, что вы приехали! Вы, ведь, драки любите? Здесь будет большая драчка.

Я ожидал, что Ленин не таков. Мне чего-то нехватало в нём. Картавит и руки сунул куда-то под мышки, стоит фёртом. И вообще, весь — как-то слишком прост, не чувствуется в нём ничего от «вождя». Я — литератор. Профессия обязывает меня подмечать мелочи, эта обязанность стала привычкой, иногда — уже надоедливой.

Когда меня «подводили» к Г. В. Плеханову, он стоял, скрестив руки на груди, и смотрел строго, скучновато, как смотрит утомлённый своими обязанностями учитель ещё на одного нового ученика. Он сказал мне весьма обычную фразу: «Я поклонник вашего таланта». Кроме этого, он не сказал ничего, что моя память удержала бы. И на протяжении всего съезда ни у него, ни у меня не явилось желания поговорить «по душам».

А этот лысый, картавый плотный, крепкий человек, потирая одною рукой сократовский лоб, дёргая другою мою руку, ласково поблескивая удивительно живыми глазами, тотчас же заговорил о недостатках книги «Мать», оказалось, что он прочитал её в рукописи, взятой у И. П. Ладыжникова. Я сказал, что торопился написать книгу, но — не успел объяснить, почему торопился, — Ленин, утвердительно кивнув головой, сам объяснил это: очень хорошо, что я поспешил, книга — нужная, много рабочих участвовало в революционном движении несознательно, стихийно, и теперь они прочитают «Мать» с большой пользой для себя.

«Очень своевременная книга». Это был единственный, но крайне ценный для меня его комплимент. Затем он деловито осведомился, переводится ли «Мать» на иностранные языки, насколько испортила книгу русская и американская цензура, а узнав, что автора решено привлечь к суду, сначала — поморщился, а затем, вскинув голову, закрыв глаза, засмеялся каким-то необыкновенным смехом...

Но вот поспешно взошёл на кафедру Владимир Ильич, картова произнёс «товарищи». Мне показалось, что он плохо говорит, но уже через минуту я, как и все, был «поглощён» его речью. Первый раз слышал я, что о сложнейших вопросах политики можно говорить так просто. Этот не пытался сочинять красивые фразы, а подавал каждое слово на ладони, изумительно легко обнажая его точный смысл. Очень трудно передать необычное впечатление, которое он вызывал.

Его рука, протянутая вперёд и немного поднятая вверх, ладонь, которая как бы взвешивала каждое слово, отсеивая фразы противников, заменяя их вескими положениями, доказательствами права и долга рабочего класса идти своим путём, а не сзади и даже не рядом с либеральной буржуазией, — всё это было необыкновенно и говорилось им, Лениным, как-то не от себя, а действительно по воле истории. Слитность, законченность, прямота и сила его речи, весь он на кафедре — точно произведение классического искусства: всё есть, и ничего лишнего, никаких украшений, а если они были — их не видно, они так же естественно необходимы, как два глаза на лице, пять пальцев на руке.

По счёту времени он говорил меньше ораторов, которые вы-

ступали до него, а по впечатлению — значительно больше; не один я чувствовал это, сзади меня восторженно шептали:

— Густо говорит...

Так оно и было; каждый его довод развёртывался сам собою — силою, заключённой в нём.

Меньшевики, не стесняясь, показывали, что речь Ленина неприятна им, а сам он — более чем неприятен. Чем убедительнее он доказывал необходимость для партии подняться на высоту революционной теории для того, чтобы всесторонне проверить практику, тем озлобленнее прерывали его речь.

Свободные минуты, часы он проводил среди рабочих, выспрашивал их о самых мизерных мелочах быта.

— Ну, а женщины как? Заедает хозяйство? Всё-таки — учатся, читают?

В Гайд-парке несколько человек рабочих, впервые видевших Ленина, заговорили о его поведении на съезде. Кто-то из них характерно сказал:

— Не знаю, может быть, здесь, в Европе, у рабочих есть и другой, такой же умный человек — Бебель или ещё кто. А вот чтобы был другой человек, которого я бы сразу полюбил, как этого, — не верится!

Другой рабочий добавил, улыбаясь:

— Этот — наш!

Ему возразили:

— И Плеханов — наш.

Я услышал меткий ответ:

— Плеханов — наш учитель, наш барин, а Ленин — вождь и товарищ наш.

Обедали небольшой компанией всегда в одном и том же маленьком, дешёвом ресторане. Я заметил, что Владимир Ильич ест очень мало: яичницу из двух-трех яиц, небольшой кусок ветчины, выпивает кружку густого, тёмного пива. По всему видно было, что к себе он относится небрежно, и поражала меня его удивительная заботливость о рабочих. Питанием их заведовала М. Ф. Андреева, и он спрашивал её.

— Как вы думаете: не голодают товарищи? нет? Гм, гм... А может, увеличить бутерброды?

Пришёл в гостиницу, где я остановился, и вижу: озабоченно щупает постель.

— Что это вы делаете?

— Смотрю — не сырые ли простыни.

Я не сразу понял: зачем ему нужно знать — какие в Лондоне простыни? Тогда он, заметив моё недоумение, объяснил:

— Вы должны следить за своим здоровьем.

Осенью 18 года я спросил сормовского рабочего Дмитрия Павлова, какова, на его взгляд, самая резкая черта Ленина?

— Простота. Прост, как правда.

Сказал он это как хорошо продуманное, давно решённое. Известно, что строже всех судях человека его служащие. Но шофёр Ленина, Гиль, много испытывавший человек, говорил:

— Ленин — особенный. Таких — нет.

Обаятелен был его смех, — «задушевный» смех человека, который... умел наслаждаться детской наивностью «простых сердцем».

Старый рыбак, Джиованни Спадаро, сказал о нём:

— Так смеяться может только честный человек...

Кто-то пришёл к нему и вижу: на столе лежит том «Войны и мира».

— Да, Толстой! Захотелось прочитать сцену охоты, да вот, вспомнил, что надо написать товарищу. А читать — совершенно нет времени. Только сегодня ночью прочитал вашу книжку о Толстом.

Улыбаясь, прижмурив глаза, он с наслаждением вытянулся в кресле и, понизив голос, быстро продолжал:

— Какая глыба, а? Какой матёрый человечище! Вот это, батенька, художник... И — знаете, что ещё изумительно? До этого графа подлинного мужика в литературе не было.

Потом, глядя на меня прищуренными глазками, спросил:

— Кого в Европе можно поставить рядом с ним?

Сам себе ответил:

— Некого.

И, потирая руки, засмеялся, довольный.

Я нередко подмечал в нём черту гордости Россией, русскими, русским искусством. Иногда эта черта казалась мне странно чуждой Ленину и даже наивной, но потом я научился слышать в ней отзвук глубоко скрытой, радостной любви к рабочему народу.

Как-то вечером, в Москве, на квартире Е. П. Пешковой, Ленин, слушая сонаты Бетховена в исполнении Исае Добровейн, сказал:

— Ничего не знаю лучше «Аpassionata» готов слушать её каждый день. Изумительная, нечеловеческая музыка. Я всегда с гордостью, может быть, наивной, думаю: вот какие чудеса могут делать люди.

И, прищурясь, усмехаясь, он прибавил невесело:

— Но часто слушать музыку не могу, действует на нервы, хочется милые глупости говорить и гладить по головкам людей, которые, живя в грязном аду, могут создавать такую красоту.

До 18 года, до пошлейшей и гнусной попытки убить Ленина, не встречался с ним в России и даже издали не видал его. Я пришёл к нему, когда он ещё плохо владел рукой и едва двигал простреленной шеей. В ответ на моё возмущение он сказал неохотно, как говорят о том, что надоело:

— Драка. Что делать? Каждый действует как умеет.

Мы встретились очень дружески, но, разумеется, пронзительные, всевидящие глазки милого Ильича смотрели на меня, «заблудившегося», с явным сожалением.

В тяжёлом, голодном 19 году Ленин стыдился есть продукты, которые присылали ему товарищи, солдаты и крестьяне из провинции. Когда в его неудобную квартиру приносили посылки, он морщился, конфузился и спешил раздать муку, сахар, масло больным или ослабевшим от недоедания товарищам. Приглашая меня обедать к себе, он сказал.

— Копчёной рыбой угощу — прислали из Астрахани.

И, нахмутив сократовский лоб, скосив в сторону всевидящие глаза, добавил:

— Присылают, точно барину! Как от этого отвадишь? Отказаться, не принять — обидишь. А кругом все голодают.

Неприхотливый, чуждый привычки к вину, табаку, занятый с утра до вечера сложной, тяжёлой работой, он совершенно не умел заботиться о себе, но зорко следил за жизнью товарищей.

Мне часто приходилось говорить с Лениным о жестокости революционной тактики и быта.

— Чего вы хотите? — удивлённо и гневно спрашивал он. — Возможна ли гуманность в такой небывало свирепой драке? Где тут место мягкосердечию и великодушию? Нас блокирует Европа, мы лишены ожидавшейся помощи европейского пролетариата, на нас, со всех сторон, медведем лезет контрреволюция, а мы — что же? Не должны, не в праве бороться, сопротивляться? Ну, извините, мы не дурачки. Мы знаем: то, чего мы хотим, никто не может сделать, кроме нас. Неужели вы допускаете, что, если б я был убеждён в противном, я сидел бы здесь?

— Какою мерой измеряете вы количество необходимых и лишних ударов в драке? — спросил он меня однажды после горячей беседы. На этот простой вопрос я мог ответить только лирически. Думаю, что иного ответа — нет.

Он был русский человек, который долго жил вне России, внимательно разглядывая свою страну, — издали она кажется красочнее и ярче. Он правильно оценил потенциальную силу её — исключительную талантливость народа, еще слабо выраженную, не возбуждённую историей, тяжёлой и нудной, но талантливость всюду, на тёмном фоне фантастической русской жизни блестящую золотыми звёздами.

Владимир Ленин, большой, настоящий человек мира сего, — умер. Эта смерть очень больно ударила по сердцам тех людей, кто знал его, очень больно!

Но чёрная черта смерти только ещё резче подчёркивает в глазах всего мира его значение, — значение вождя всемирного трудового народа.

И если б туча ненависти к нему, туча лжи и клеветы вокруг имени его была ещё более густа — все равно: нет сил, которые могли бы затемнить факел, поднятый Лениным в душной тьме обезумевшего мира.

И не было человека, который так, как этот, действительно заслужил в мире вечную память.

Владимир Ленин умер. Наследники разума и воли его — живы. Живы и работают так успешно, как никто, никогда, нигде в мире не работал.

(1924—1930 гг.)

## МАТЬ

(Отрывки из повести.)

### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

#### I.

Каждый день над рабочей слободкой, в дымном, масляном воздухе, дрожал и ревел фабричный гудок, и, послушные зову, из маленьких серых домов выбегали на улицу, точно испуганные тараканы, угрюмые люди, не успевшие освежить сном свои мускулы. В холодном сумраке они шли по немощёной улице к высоким каменным клеткам фабрики, она с равнодушной уверенностью ждала их, освещая грязную дорогу десятками жирных, квадратных глаз. Грязь чмокала под ногами. Раздавались хриплые восклицания сонных голосов, грубая ругань зло рвала воздух, навстречу людям плыли иные звуки — тяжёлая возня машин, ворчание пара. Угрюмо и строго маячили<sup>1</sup> высокие чёрные трубы, поднимаясь над слободкой, как толстые палки.

Вечером, когда садилось солнце и на стёклах домов устало блестели его красные лучи, — фабрика выкидывала людей из своих каменных недр<sup>2</sup>, словно отработанный шлак<sup>3</sup>, и они снова шли по улицам, закопчённые, с чёрными лицами, распространяя в воздухе липкий запах машинного масла, блестя голодными зубами. Теперь в их голосах звучало оживление и даже радость, — на сегодня кончилась каторга труда, дома ждал ужин и отдых.

День проглочен фабрикой, машины высосали из мускулов людей столько силы, сколько им было нужно. День бесследно вычеркнут из жизни, человек сделал ещё шаг к своей могиле,

<sup>1</sup> Маячить — виднеться вдали.

<sup>2</sup> Недра — здесь: внутренность.

<sup>3</sup> Шлак — отходы при выплавке металла.

но он видел близко перед собой наслаждение отдыха, радости дымного кабака и — был доволен.

По праздникам спали часов до десяти, потом люди солидные и женатые одевались в своё лучшее платье и шли слушать обедню, попутно ругая молодёжь за её равнодушие к церкви. Из церкви возвращались домой, ели пироги и снова ложились спать до вечера.

Усталость, накопленная годами, лишала людей аппетита, и для того, чтобы есть, много пили, раздражая желудок острыми ожогами водки.

Вечером лениво гуляли по улицам, и тот, кто имел калоши, надевал их, если даже было сухо, а имея дождевой зонтик, носил его с собой, хотя бы светило солнце.

Встречаясь друг с другом, говорили о фабрике, о машинах, ругали мастеров, — говорили и думали только о том, что связано с работой. Одинокие искры неумелой, бессильной мысли едва мерцали<sup>1</sup> в скучном однообразии дней. Возвращаясь домой, ссорились с жёнами и часто били их, не щадя<sup>2</sup> кулаков. Молодёжь сидела в трактирах или устраивала вечеринки друг у друга, играла на гармониках, пела похабные<sup>3</sup>, некрасивые песни, танцевала, сквернословила<sup>4</sup> и пила. Истомлённые трудом люди пьянели быстро, и во всех грудях пробуждалось непонятное, болезненное раздражение. Оно требовало выхода. И, цепко хватаясь за каждую возможность разрядить это тревожное чувство, люди, из-за пустяков, бросались друг на друга с озлоблением зверей. Возникали кровавые драки. Порою они кончались тяжкими увечьями<sup>5</sup>, изредка — убийством.

В отношениях людей всего больше было чувства подстерегающей злобы, оно было такое же застарелое, как и неизлечимая усталость мускулов. Люди рождались с этою болезнью души, наследуя её от отцов, и она чёрною тенью сопровождала их до могилы, побуждая в течение жизни к ряду поступков, отвратительных своей бесцельной жестокостью.

По праздникам молодёжь являлась домой поздно ночью в разорванной одежде, в грязи и пыли, с разбитыми лицами, злобно хвастаясь нанесёнными товарищам ударами, или оскорблённая, в гневе или слёзах обиды, пьяная и жалкая, несчастная и противная. Иногда парней приводили домой матери, отцы. Они отыскивали их где-нибудь под забором на улице или в кабаках бесчувственно пьяными, скверно ругали, били кулаками мягкие, разжиженные водкой тела детей, потом более или менее забот-

<sup>1</sup> Мерцать — слабо поблескивать, светить неровным светом.

<sup>2</sup> Не щадя — не жалея.

<sup>3</sup> Похабный — неприличный, грубо-бесстыдный.

<sup>4</sup> Сквернословить — употреблять в речи неприличные, скверные слова.

<sup>5</sup> Увечье — телесное повреждение от удара, ранение.

ливо укладывали их спать, чтобы рано утром, когда в воздухе тёмным ручьём потечёт сердитый рёв гудка, разбудить их для работы.

Ругали и били детей тяжело, но пьянство и драка молодёжи казались старикам вполне законным явлением, — когда отцы были молоды, они тоже пили и дрались, их тоже били матери и отцы. Жизнь всегда была такова, — она ровно и медленно текла куда-то мутным потоком годы и годы и вся была связана крепкими, давними привычками думать и делать одно и то же изо дня в день. И никто не имел желания попытаться изменить её.

Изредка в слободку приходили откуда-то посторонние люди. Сначала они обращали на себя внимание просто тем, что были чужие, затем возбуждали к себе лёгкий, внешний интерес рассказами о местах, где они работали, потом новизна стиралась с них, к ним привыкали, и они становились незаметными. Из их рассказов было ясно: жизнь рабочего везде одинакова. А если это так — о чём же разговаривать?

Но иногда некоторые из них говорили что-то неслыханное в слободке. С ними не спорили, но слушали их странные речи недоверчиво. Эти речи у одних возбуждали слепое раздражение, у других — смутную тревогу, третьих беспокоили лёгкая тень надежды на что-то неясное, и они начинали больше пить, чтобы изгнать ненужную, мешающую тревогу.

Заметив в чужом необычное, слобожане долго не могли забыть ему это и относились к человеку, непохожему на них, с безотчётным опасением. Они точно боялись, что человек бросит в жизнь что-нибудь такое, что нарушит её уныло-правильный ход, хотя тяжёлый, но спокойный. Люди привыкли, чтобы жизнь давила их всегда с одинаковой силой, и, не ожидая никаких изменений к лучшему, считали все изменения способными только увеличить гнёт.

От людей, которые говорили новое, слобожане молча сторонились. Тогда эти люди исчезали, снова уходя куда-то, а оставаясь на фабрике, они жили в стороне, если не умели слиться в одно целое с однообразной массой слобожан...

Пожив такой жизнью лет пятьдесят — человек умирал.

### III.

(В рабочей слободке в маленьком доме жила семья Власовых: молодой рабочий Павел и его мать Пелагея Ниловна.)

Спустя недели две<sup>1</sup> после смерти отца, в воскресенье, Павел Власов пришёл домой сильно пьяный. Качаясь, он пролез в передний угол и, ударив кулаком по столу, как это делал отец, крикнул матери:

<sup>1</sup> Спустя недели две — после того как прошло недели две.

— Ужинать!

Мать подошла к нему, села рядом и обняла сына, притягивая голову его к себе на грудь. Он, упираясь рукой в плечо ей, сопротивлялся и кричал:

— Мамаша, — живо!..

— Дурачок ты! — печально и ласково сказала мать, одолевая<sup>1</sup> его сопротивление.

— И курить буду! Дай мне отцову трубку... — тяжело двигая непослушным языком, бормотал Павел.

Он напился впервые. Водка ослабила его тело, но не погасила сознания, и в голове стучал вопрос:

— Пьян? Пьян?

Его смущали ласки матери и трогала печаль в её глазах. Хотелось плакать, и, чтобы подавить это желание, он старался притвориться более пьяным, чем был.

А мать гладила рукой его потные, спутанные волосы и тихо говорила:

— Не надо бы этого тебе...

Его начало тошнить. После бурного припадка рвоты мать уложила его в постель, накрыв бледный лоб мокрым полотенцем. Он немного отрезвел, но всё под ним и вокруг него волнообразно казалось, у него отяжелели веки<sup>2</sup>, и, ощущая во рту скверный, горький вкус, он смотрел сквозь ресницы на большое лицо матери и бессвязно думал:

— Видно рано ещё мне. Другие пьют и — ничего, а меня тошнит...

Откуда-то издали доносился мягкий голос матери:

— Каким кормильцем ты будешь мне, если пить начнёшь...

Плотно закрыв глаза, он сказал:

— Все пьют...

Мать тяжело вздохнула. Он был прав. Она сама знала, что кроме кабака людям негде почерпнуть радости. Но, всё-таки, сказала:

— А ты — не пей! За тебя, сколько надо, отец выпил. И меня он намучил довольно... так уж ты бы пожалел мать-то, а?

Слушая печальные, мягкие слова, Павел вспомнил, что при жизни отца мать была незаметна в доме, молчалива и всегда жила в тревожном ожидании побоев. Избегая встреч с отцом, он мало бывал дома последнее время, отвык от матери и теперь, постепенно трезвея, пристально смотрел на неё.

Была она высокая, немного сутулая<sup>3</sup>, её тело, разбитое долгой работой и побоями мужа, двигалось бесшумно и как-то боком, точно она всегда боялась задеть что-то. Широкое, овальное

<sup>1</sup> Одолевать — побеждать, пересиливать.

<sup>2</sup> Веко — складка кожи, закрывающая глаз.

<sup>3</sup> Сутулая — сгорбленная, с приподнятыми плечами.

лицо, изрезанное морщинами и одутловатое<sup>1</sup>, освещалось тёмными глазами, тревожно-грустными, как у большинства женщин в слободке. Над правой бровью был глубокий шрам<sup>2</sup>, он немного поднимал бровь кверху, казалось, что и правое ухо у неё выше левого, это придавало её лицу такое выражение, как будто она всегда пугливо прислушивалась. В густых, тёмных волосах блестяли седые пряди<sup>3</sup>. Вся она была мягкая, печальная, покорная...

И по щекам её медленно текли слёзы.

— Не плачь! — тихо попросил сын. — Дай мне пить.

— Я тебе воды со льдом принесу...

Но когда она воротилась, он уже заснул. Она постояла над ним минуту, ковш в её руке дрожал, и лёд тихо бился о жёсть. Поставив ковш на стол, она молча опустилась на колени перед образами. В стёкла окон бились звуки пьяной жизни. Во тьме и сырости осеннего вечера визжала гармоника, кто-то громко пел, кто-то ругался гнилыми словами, тревожно звучали раздражённые, усталые голоса женщин...

Жизнь в маленьком доме Власовых потекла более тихо и спокойно, чем прежде, и несколько иначе, чем везде в слободе. Дом их стоял на краю слободы, у невысокого, но крутого спуска к болоту. Треть дома занимала кухня и отгороженная от неё тонкой переборкой<sup>4</sup> маленькая комнатка, в которой спала мать. Остальные две трети — квадратная комната с двумя окнами; в одном углу её — кровать Павла, в переднем — стол и две лавки. Несколько стульев, комод для белья, на нём маленькое зеркало, сундук с платьем, часы на стене и две иконы в углу — вот и всё.

Павел сделал всё, что надо молодому парню: купил гармонику, рубашку с накрахмаленной грудью, яркий галстук, калоши, трость<sup>5</sup>, и стал такой же, как все подростки его лет. Ходил на вечеринки, выучился танцевать кадрили и польку, по праздникам возвращался домой выпивши и всегда сильно страдал от водки. Наутро болела голова, мучила изжога<sup>6</sup>, лицо было бледное, скучное.

Однажды мать спросила его:

— Ну, что, весело тебе было вчера?

Он ответил с угрюмым раздражением:

— Тоска зелёная! Я лучше удить рыбу буду. Или — куплю себе ружьё.

Работал он усердно, без прогулов и штрафов, был молчалив, и голубые, большие, как у матери, глаза его смотрели недо-

<sup>1</sup> Одутловатый — опухший.

<sup>2</sup> Шрам — след на коже от раны.

<sup>3</sup> Прядь — пучок волос.

<sup>4</sup> Переборка — здесь: перегородка.

<sup>5</sup> Трость — тонкая палка для опоры при ходьбе.

<sup>6</sup> Изжога — ощущение жжения в пищеводе.

вольно. Он не купил себе ружья и не стал удить рыбу, но заметно начал уклоняться с торной дороги<sup>1</sup> всех: реже посещал вечеринки и хотя по праздникам куда-то уходил, но возвращался трезвый. Мать, зорко следя за ним, видела, что смуглое<sup>2</sup> лицо сына становится острее, глаза смотрят всё более серьёзно и губы его сжались странно строго. Казалось, он молча сердится на что-то или его сосёт болезнь. Раньше к нему заходили товарищи, теперь, не заставая его дома, они перестали являться. Матери было приятно видеть, что сын её становится непохожим на фабричную молодёжь, но когда она заметила, что он сосредоточенно и упрямо выплывает куда-то в сторону из тёмного потока жизни, — это вызвало в душе её чувство смутного опасения.

— Ты, может, нездоров, Павлуша? — спрашивала она его иногда.

— Нет, я здоров! — отвечал он.

— Худой ты очень! — вздохнув, говорила мать.

Он начал приносить книги и старался читать их незаметно, а, прочитав, куда-то прятал. Иногда он выписывал из книжек что-то на отдельную бумажку и тоже прятал её...

Говорили они мало и мало видели друг друга. Утром он молча пил чай и ходил на работу, в полдень являлся обедать, за столом перекидывались незначительными словами, и снова он исчезал вплоть до вечера. А вечером тщательно умывался, ужинал и после долго читал свои книги. По праздникам уходил с утра, возвращался поздно ночью. Она знала, что он ходит в город, бывает там в театре, но к нему из города никто не приходил. Ей казалось, что с течением времени сын говорит всё меньше, и, в то же время, она замечала, что порою он употребляет какие-то новые слова, непонятные ей, а привычные для него грубые и резкие выражения — выпадают из его речи. В поведении его явилось много мелочей, обращавших на себя её внимание; он бросил щегольство, стал больше заботиться о чистоте тела и платья, двигался свободнее, ловчее и, становясь наружно проще, мягче, возбуждал у матери тревожное внимание. И в отношении к матери было что-то новое: он иногда подметал пол в комнате, сам убирал по праздникам свою постель, вообще старался облегчить её труд. Никто в слободе не делал этого...

#### IV.

Однажды после ужина Пален опустил занавеску на окне, сел в угол и стал читать, повесив на стенку над своей головой жестяную лампу. Мать убрала посуду и, выйдя из кухни, осторож-

<sup>1</sup> Торная дорога — здесь: обычная дорога.

<sup>2</sup> Смуглый — тёмный, темноватой окраски.

но подошла к нему. Он поднял голову и вопросительно взглянул ей в лицо.

— Ничего, Паша, это я так! — поспешно сказала она и ушла, смущённо двигая бровями. Но, постояв среди кухни минуту неподвижно, задумчивая, озабоченная, она чисто вымыла руки и снова вышла к сыну.

— Хочу я спросить тебя, — тихонько сказала она, — что ты всё читаешь?

Он сложил книжку.

— Ты — сядь, мамаша...

Мать грузно<sup>1</sup> опустилась рядом с ним и выпрямилась, настожила, ожидая чего-то важного.

Не глядя на неё, негромко и почему-то очень сурово, Павел заговорил:

— Я читаю запрещённые книги. Их запрещают читать потому, что они говорят правду о нашей рабочей жизни... Они печатаются тихонько, тайно, и если их у меня найдут — меня посадят в тюрьму — в тюрьму за то, что я хочу знать правду. Поняла?

Ей вдруг стало трудно дышать. Широко открыв глаза, она смотрела на сына, он казался ей чуждым. У него был другой голос — ниже, гуще и звучнее. Он щипал пальцами тонкие пушистые усы и странно, исподлобья смотрел куда-то в угол. Ей стало страшно за сына и жалко его.

— Зачем же ты это, Паша? — проговорила она.

Он поднял голову, взглянул на неё и негромко, спокойно ответил:

— Хочу знать правду.

Голос его звучал тихо, но твёрдо, глаза блестели упрямо. Она сердцем поняла, что сын её обрёл<sup>2</sup> себя навсегда чему-то тайному и страшному. Всё в жизни казалось ей неизбежным, она привыкла подчиняться не думая и теперь только заплакала тихонько, не находя слов в сердце, сжатым горем и тоской.

— Не плачь, — говорил Павел ласково и тихо, а ей казалось, что он прощается.

— Подумай, какую жизнью мы живём? Тебе сорок лет, — а разве ты жила? Отец тебя бил, — я теперь понимаю, что он на твоих боках вымещал<sup>3</sup> своё горе — горе своей жизни; оно давило его, а он не понимал — откуда оно? Он работал тридцать лет, начал работать, когда вся фабрика помещалась в двух корпусах, а теперь их — семь!

<sup>1</sup> Грузно — тяжело, тяжеловесно.

<sup>2</sup> Обрёл — предназначил.

<sup>3</sup> Вымещать — удовлетворять свою обиду, горе местию ни в чём неповинному.

Она слушала его со страхом и жадно. Глаза сына горели красиво и светло; опираясь грудью на стол, он подвинулся ближе к ней и говорил прямо в лицо, мокрое от слёз, свою первую речь о правде, понятой им.

## VII.

(У Павла стал собираться кружок рабочей молодёжи. В качестве пропагандистов в нём участвовали революционеры-интеллигенты, в том числе Наташа, вышедшая из буржуазной семьи и порвавшая с ней.)

Дни скользили один за другим, как бусы<sup>1</sup> чётки<sup>2</sup>, слагаясь в недели, месяцы. Каждую субботу к Павлу приходили товарищи, каждое собрание являлось ступенью длинной, пологой лестницы, — она вела куда-то вдаль, медленно поднимая людей.

Появлялись новые люди. В маленькой комнате Власовых становилось тесно и душно. Приходила Наташа, иззябшая, усталая, но всегда неисчерпаемо весёлая и живая. Мать связала ей чулки и сама надела на маленькие ноги. Наташа сначала смеялась, а потом вдруг замолчала, задумалась и тихонько сказала:

— У меня няня была, — тоже удивительно добрая! Как странно, Пелагея Ниловна, — рабочий народ живёт такой трудной, такой обидной жизнью, а ведь у него больше сердца, больше доброты, чем у тех!

И махнула рукой, указывая куда-то вдаль, очень далеко от неё.

— Вот какая вы! — сказала Власовна. — Родителей лишились и всего, — она не умела докончить своей мысли, вздохнула и замолчала, глядя в лицо Наташи, чувствуя к ней благодарность за что-то. Она сидела на полу перед ней, а девушка задумчиво улыбалась, наклонив голову.

— Родителей лишилась? — повторила она. — Это — ничего! Отец у меня такой грубый, брат тоже. И — пьяница. Старшая сестра — несчастная... Вышла замуж за человека, много старше её... Очень богатый, скучный, жадный. Маму — жалко! Она у меня простая, как вы. Маленькая такая, точно мышка, — так же быстро бегают и всех боится. Иногда — так хочется видеть её.

— Бедная вы моя! — грустно качая головой, сказала мать.

Девушка быстро вскинула голову и протянула руку, как бы отталкивая что-то.

---

<sup>1</sup> Бусы — украшение в виде нанизанных на нитку шариков или других мелких предметов.

<sup>2</sup> Чётки — шнурок с нанизанными на него бусами. (Чётки употреблялись для отсчитывания прочитанных молитв и сделанных поклонов во время моления.) \*

Почти каждый вечер после работы у Павла сидел кто-нибудь из товарищей, и они читали, что-то выписывали из книг, озабоченные, не успевшие умыться. Ужинали и пили чай с книжками в руках, и всё более непонятны для матери были их речи.

— Нам нужна газета! — часто говорил Павел.

Жизнь становилась торопливой и лихорадочной, люди всё быстрее перебегали от одной книги к другой, точно пчёлы с цветка на цветок.

— Поговаривают про нас! — сказал однажды Весовщиков. — Должны мы скоро провалиться...

— На то и перепел<sup>1</sup>, чтобы в сети попасть! — отозвался хохол.

Он всё больше нравился матери. Когда он называл её «ненько» — это слово точно гладило её щёки мягкой, детской рукой. По воскресеньям, если Павлу было некогда, он колол дрова, однажды пришёл с доской на плече и, взяв топор, быстро и ловко переменял сгнившую ступень на крыльце, другой раз так же незаметно починил завалившийся забор. Работая, он свистел, и свист у него был красиво печальный.

Однажды мать сказала сыну:

— Давай, возьмём хохла себе в нахлебники<sup>2</sup>... Лучше будет обоим вам — не бегать друг к другу.

— Зачем вам стеснять себя? — спросил Палев, пожимая плечами.

— Ну вот ещё! Всю жизнь стеснялась, не зная для чего, — для хорошего человека можно!

— Делайте, как хотите! — отозвался сын. — Коли он передеет — я буду рад...

И хохол перебрался к ним.

... Иногда вместо Наташи являлся из города Николай Иванович, человек в очках, с маленькой, светлой бородкой, уроженец какой-то дальней губернии, — он говорил особенным — на о — говорком. Он вообще весь был какой-то далёкий. Рассказывал он о простых вещах — о семейной жизни, о детях, о торговле, о полиции, о ценах на хлеб и мясо — обо всём, чем люди живут изо дня в день. И во всём он открывал фальшь, путаницу, что-то глупое, порою смешное, всегда — явно невыгодное людям. Матери казалось, что он прибыл откуда-то издалека, из другого царства, там все живут честной и лёгкой жизнью, а здесь — всё чужое ему, он не может привыкнуть к этой жизни, принять её, как необходимую, она не нравится ему и возбуж-

<sup>1</sup> Перепел — небольшая полевая птица.

<sup>2</sup> Нахлебник — тот, кто получает за плату питание и помещение в чужой семье.

дает в нём спокойное, упрямое желание перестроить всё на свой лад. Лицо у него было желтоватое, вокруг глаз тонкие лучистые морщинки, голос тихий, а руки всегда тёплые. Здороваясь с Власовой, он обнимал всю её руку крепкими пальцами, и после такого рукопожатия на душе становилось легче, спокойнее.

Являлись и ещё люди из города, чаще других, — высокая стройная барышня с огромными глазами на худом, бледном лице. Её звали Сашенька. В её походке и движениях было что-то мужское, она сердито хмурила густые, тёмные брови, а когда говорила, — тонкие ноздри её прямого носа вздрагивали.

Сашенька первая сказала громко и резко:

— Мы — социалисты...

Когда мать услышала это слово, она в молчаливом испуге уставилась в лицо барышни. Она слышала, что социалисты убили царя. Это было во дни её молодости; тогда говорили, что помещики, желая отомстить царю за то, что он освободил крестьян, дали зарок<sup>1</sup> не стричь себе волос до поры, пока они не убьют его, за это их и называли социалистами. И теперь она не могла понять — почему же социалист сын её и товарищи его?

Когда все разошлись, она спросила Павла:

— Павлуша, разве ты социалист?

— Да! — сказал он, стоя перед нею, как всегда, прямо и твёрдо. — А что?

Мать тяжело вздохнула и, опустив глаза, спросила:

— Так ли, Павлуша? Ведь они — против царя, — ведь они убили одного.

Павел прошёлся по комнате, погладил рукой щеку и, усмехнувшись, сказал:

— Нам это не нужно!..

...Иногда мать поражало настроение буйной радости, вдруг и дружно овладевавшее всеми. Обыкновенно это было в те вечера, когда они читали в газетах о рабочем народе за границей. Тогда глаза у всех блестели радостью, все становились странно, как-то по-детски счастливы, смеялись весёлым, ясным смехом, ласково хлопали друг друга по плечам.

Хохол<sup>2</sup> говорил, блестя глазами, полный всех обнимавшего чувства любви:

— Хорошо бы написать им туда, а? Чтобы знали, что в России живут у них друзья, которые веруют и исповедуют одну религию с ними, живут люди одних целей и радуются их победам!

И все мечтательно, с улыбками на лицах, долго говорили о французах, англичанах и шведах, как о своих друзьях, о близ-

<sup>1</sup> Зарок — обещание не делать чего-нибудь.

<sup>2</sup> Хохол — украинец. (Название *хохол* употреблялось в дореволюционное время, обычно с шутовым или пренебрежительным оттенком. Здесь так называется один из участников революционного кружка — Андрей Находка.)

ких сердцу людям, которых они уважают, живут их радостями, чувствуют горе.

В тесной комнате рождалось чувство духовного родства рабочих всей земли. Это чувство сливало всех в одну душу, волнуя и мать; хотя было оно непонятно ей, но выпрямляло её своей силой, радостной и юной, охмеляющей и полной надежд.

— Какие вы! — сказала она хохлу как-то раз. — Все вам товарищи — армяне и евреи, а австрияки, — за всех печаль и радость!

— За всех, моя ненько<sup>1</sup>, за всех! — воскликнул хохол. — Для нас нет наций, нет племён, есть только товарищи, только враги. Все рабочие — наши товарищи, все богатые враги, все правительства — наши враги. Когда окинешь добрыми глазами землю, когда увидишь, как нас, рабочих, много, сколько силы мы несём — такая радость обнимает сердце, такой великий праздник в груди! И так же, ненько, чувствует француз и немец, когда они взглянут на жизнь, и так же радуется итальянец. Мы все — дети одной матери, непобедимой мысли о братстве рабочего народа всех стран земли. Она греет нас, она солнце на небе справедливости, а это небо — в сердце рабочего, и кто бы он ни был, как бы ни называл себя, социалист — наш брат по духу всегда, ныне<sup>2</sup> и присно<sup>3</sup> и во веки веков!

Эта детская, но крепкая вера всё чаще возникала среди них, всё возвышалась и росла в своей могучей силе. И когда мать видела её, она невольно чувствовала, что воистину<sup>4</sup> в мире родилось что-то великое и светлое, подобное солнцу неба, видимого ею.

Часто пели песни. Простые, всем известные песни пели громко и весело, но иногда запевали новые, как-то особенно складные, но невесёлые и необычные по напевам. Их пели вполголоса, серьёзно, точно церковные. Лица певцов бледнели, разгорались, и в звучных словах чувствовалась большая сила.

Особенно одна из новых песен тревожила и волновала женщину.

В этой песне не слышно было печального раздумья души, обиженной и одиноко блуждающей по тёмным тропам горестных недоумений, стонов души, забитой нуждой, запуганной страхом, безличной и бесцветной. И не звучали в ней тоскливые вздохи силы, смутно жаждущей простора, вызывающие крики задорной удали, безразлично готовой сокрушить и злое и доброе. В ней не было слепого чувства мести и обиды, которое способно всё разрушить, бессильно что-нибудь создать, — в этой песне не слышно было ничего от старого рабьего мира.

<sup>1</sup> Ненько (по-украински) — мать.

<sup>2</sup> Ныне — теперь.

<sup>3</sup> Присно (по-старославянски) — всегда.

<sup>4</sup> Воистину (устаревшее слово) — действительно, вправду.

Серый, маленький дом Власовых всё более и более притягивал внимание слободки. В этом внимании было много подозрительной осторожности и бессознательной вражды, но зарождалось и доверчивое любопытство. Иногда приходил какой-то человек и, осторожно оглядываясь, говорил Павлу:

— Ну-ка, брат, ты тут книги читаешь, законы-то известны тебе. Так вот, объясни ты...

И рассказывал Павлу о какой-нибудь несправедливости полиции или администрации фабрики. В сложных случаях Павел давал человеку записку в город к знакомому адвокату, а когда мог — объяснял дело сам.

Постепенно в людях возникало уважение к молодому серьёзному человеку, который обо всём говорил просто и смело, глядя на всё и всё слушая со вниманием, которое упрямо рылось в путанице каждого частного случая и всегда, всюду находило какую-то общую, безконечную нить, тысячами крепких петель связывающую людей.

Особенно поднялся Павел в глазах людей после истории с «болотной копеей».

За фабрикой, почти окружая её гнилым кольцом, тянулось обширное болото, поросшее ельником и берёзой. Летом оно дышало густыми, жёлтыми испарениями, и на слободку с него летели тучи комаров, сея лихорадки. Болото принадлежало фабрике, и новый директор, желая извлечь из него пользу, задумал осушить его, а кстате выбрать торф. Указывая рабочим, что эта мера оздоровит местность и улучшит условия жизни для всех, директор распорядился вычитать из их заработка копейку с рубля на осушение болота.

Рабочие заволновались. Особенно обидело их, что служащие не входили в число плательщиков нового налога.

Павел был болен в субботу, когда вывесили объявление директора о сборе копейки; он не работал и не знал ничего об этом. На другой день, после обеда, к нему пришёл благообразный, старик, литейщик Сизов, высокий и злой слесарь Махотин и рассказали ему о решении директора.

Там, где стояли Сизов и Махотин, появился Павел, и прозвучал его крик:

— Товарищи!

Мать видела, что лицо у него побледнело и губы дрожат, она невольно двинулась вперёд, расталкивая толпу. Ей говорили раздражённо:

— Куда лезешь?

Толкали её. Но это не останавливало мать; раздвигая лю-

дей плечами и локтями, она медленно протискивалась всё ближе к сыну, повинувшись желанию встать рядом с ним. А Павел, выбросив из груди слово, в которое он привык вкладывать глубокий и важный смысл, почувствовал, что горло ему сжала спазма<sup>1</sup> боевой радости; охватило желание бросить людям своё сердце, зажжённое огнём мечты о правде.

— Товарищи! — повторил он, черпая в этом слове восторг и силу. — Мы — те люди, которые строят церкви и фабрики, кукут цепи и деньги, мы — та живая сила, которая кормит и забавляет всех от пелёнок до гроба...

— Вот! — крикнул Рыбин.

— Мы всегда и везде — первые в работе и на последнем месте в жизни. Кто заботится о нас? Кто хочет нам добра? Кто считает нас людьми? Никто?

— Никто! — отозвался, точно эхо, чей-то голос.

Павел, овладевая собой, стал говорить проще, спокойнее, толпа медленно подвигалась к нему, складываясь в тёмное тысячеглавое тело. Она смотрела в его лицо сотнями внимательных глаз, всасывала его слова.

— Мы не добьёмся лучшей доли, покуда не почувствуем себя товарищами, семьёй друзей, крепко связанных одним желанием — желанием бороться за наши права.

— Говори о деле! — грубо закричали где-то рядом с матерью.

— Не мешай! — негромко раздалось два возгласа в разных местах.

Закопчённые лица хмурились недоверчиво, угрюмо, десятки глаз смотрели в лицо Павла серьёзно, вдумчиво.

— Социалист, а — не дурак! — заметил кто-то.

— Ух! Смело говорит! — толкнув мать в плечо, сказал выскок, кривой рабочий.

— Пора, товарищи, понять, что никто, кроме нас самих, не поможет нам! Один за всех, все за одного — вот наш закон, если мы хотим одолеть врага!

— Дело говорит, ребята! — крикнул Махотин.

Вдруг в толпе раздалось негромкое восклицание:

— Сам идёт!..

— Директор!..

Толпа расступилась, давая дорогу высокому человеку с острой бородкой и длинным лицом.

— Позвольте! — говорил он, отстраняя рабочих с своей дороги коротким жестом руки, но не дотрагиваясь до них. Глаза у него были прищурены, и взглядом опытного владыки людей он испытующе шупал лица рабочих. Перед ним снимали шапки, кланялись ему — он шёл, не отвечая на поклоны, и сеял в толпе

---

<sup>1</sup> Спазма — здесь: судорожное сжатие горловых мышц.

тишину, смущение, конфузливые<sup>1</sup> улыбки и негромкие восклицания, в которых уже слышалось раскаяние детей, сознающих, что они нашалили.

Вот он прошёл мимо матери, скользнув по её лицу строгими глазами, остановился перед грудой железа. Кто-то сверху протянул ему руку — он не взял её, свободно, сильным движением тела влез наверх, встал впереди Павла и Сизова и спросил:

— Это — что за сборище? Почему бросили работу?

Несколько секунд было тихо. Головы людей покачивались точно колосья. Сизов, махнув в воздухе картузом<sup>2</sup>, повёл плечами и опустил голову.

— Я спрашиваю! — крикнул директор.

Павел встал рядом с ним и громко сказал, указывая на Сизова и Рыбина.

— Мы трое уполномочены товарищами потребовать, чтобы вы отменили своё распоряжение о вычете копейки...

— Почему? — спросил директор, не взглянув на Павла.

— Мы не считаем справедливым такой налог на нас! — громко сказал Павел.

— Вы что же, в моём намерении осушить болото видите только желание эксплуатировать рабочих, а не заботу об улучшении их быта? Да?

— Если через пятнадцать минут вы не начнёте работать, я прикажу записать всем штраф! — сухо и внятно<sup>3</sup> ответил директор.

## XXVI.

(После освобождения из тюрьмы Павел вновь взялся за революционную работу.)

... На рассвете выл фабричный гудок, сын и Андрей наскоро пили чай, закусывали и уходили, оставляя матери десяток поручений. И целый день она кружилась, как белка в колесе, варила обед, варила лиловый студень<sup>4</sup> для прокламаций и клей для них, приходили каки-то люди, совали записки для передачи Павлу и исчезали, заражая её своим возбуждением.

Листки, призывавшие рабочих праздновать Первое Мая, почти каждую ночь наклеивали на заборах, они являлись даже на дверях полицейского правления, их каждый день находили на фабрике. По утрам полиция, ругаясь, ходила по слободе,

<sup>1</sup> Конфузливые — стыдливые.

<sup>2</sup> Картуз — головной убор с козырьком.

<sup>3</sup> Внятно — отчётливо, ясно.

<sup>4</sup> Студень — здесь: застывшая в виде густой массы смесь глицерина и желатина; этот состав, впитывающий копируемые чернила, употреблялся для печатания прокламаций.

срывая и соскабливая<sup>1</sup> лиловые бумажки с заборов, а в обед они снова летали на улице, подкатываясь под ноги прохожих. Из города прислали сыщиков, они, стоя на углах, щупали глазами рабочих, весело и оживлённо проходивших с фабрики на обед и обратно. Всем нравилось видеть бессилие полиции, и даже пожилые рабочие, усмехаясь, говорили друг другу:

— Что делают, — а?

Всюду собирались кучки людей, горячо обсуждая волнующий призыв. Жизнь вскипала, она в эту весну для всех была интереснее, всем несла что-то новое, одним — ещё причину раздражаться, злобно ругая крамольников<sup>2</sup>, другим — смутную тревогу и надежду, а третьим — их было меньшинство, — острую радость сознания, что это они являются силой, которая будит всех.

Павел и Андрей почти не спали по ночам, являлись домой уже перед гудком, оба усталые, охрипшие бледные. Мать знала, что они устраивают собрания в лесу, на болоте, ей было известно, что вокруг слободы по ночам рыскают<sup>3</sup> разъезды конной полиции, ползают сыщики, хватая и обыскивая отдельных рабочих, разгоняя группы и порою арестуя того или другого. Понимая, что и сына с Андреем тоже могут арестовать каждую ночь, она почти желала этого — это было бы лучше для них, казалось ей . . .

. . . И вот пришёл этот день — Первое Мая.

## XXVII.

. . . Солнце поднималось всё выше, вливая своё тепло в бодрую свежесть внешнего дня. Облака плыли медленнее, тени их стали тоньше, прозрачнее. Они мягко ползли по улице и по крышам домов, окутывали людей и точно чистили слободу, стирая грязь и пыль со стен и крыш, скуку с лиц. Становилось веселее, голоса звучали громче, заглушая дальний шум возни машин. Это нужно помнить. Их за это по тюрьмам таскали, — а выиграла от того все! . . .

Заревел гудок, поглотив своим чёрным звуком людской говор. Толпа дрогнула, сидевшие встали, на минуту всё замерло, насторожилось, и много лиц побледнело.

— Товарищи! — раздался голос Павла, звучный и крепкий. Сухой, горячий туман ожёг глаза матери, и она одним движением вдруг окрепшего тела встала сзади сына. Все обернулись к Павлу, окружая его, точно крупинки железа кусок магнита.

<sup>1</sup> Соскабливать — счищать острым орудием.

<sup>2</sup> Крамольники — бунтовщики, мятежники; так называли революционеров сторонники царизма..

<sup>3</sup> Рыскать — здесь: разъезжать в поисках чего-нибудь.

Мать смотрела в лицо ему и видела только глаза, гордые и смелые, жгучие...

— Товарищи! Мы решили открыто заявить, кто мы, мы понимаем сегодня наше знамя, знамя разума, правды, свободы!

Древко, белое и длинное, мелькнуло в воздухе, наклонилось, разрезало толпу, скрылось в ней, и через минуту над поднятыми кверху лицами людей взметнулось красной птицей широкое полотно знамени рабочего народа.

Павел поднял руку кверху — древко покачнулось, тогда десяток рук схватили белое гладкое дерево, и среди них была рука его матери.

— Да здравствует рабочий народ! — крикнул он.

Сотни голосов отозвались ему гулким криком.

— Да здравствует социал-демократическая рабочая партия, наша партия, товарищи, наша духовная родина!

Толпа кипела, сквозь неё пробивались ко знамени те, кто понял его значение, рядом в Павлом становились Мазин, Самойлов, Гусевы, наклонив голову, расталкивая людей Николай, и ещё какие-то незнакомые матери люди, молодые, с горящими глазами отталкивали её...

— Да здравствует рабочие люди всех стран! — крикнул Павел. И всё увеличиваясь в силе и радости, ему ответило тысячеустое эхо потрясающим душу звуком.

Мать схватила руку Николая и ещё чью-то, она задыхалась от слёз, но не плакала, у неё дрожали ноги, и трясущимися губами она говорила:

— Родные...

Мать не мигая смотрела. Серая волна солдат колыхнулась и, растянувшись во всю ширину улицы, ровно, холодно двинулась, неся впереди себя редкий гребень серебристо сверкавших зубьев стали. Она, широко шагая, встала ближе к сыну, видела, как Андрей тоже шагнул вперёд Павла и загородил его своим длинным телом.

— Иди рядом, товарищ! — резко крикнул Павел.

Андрей пел, руки у него были сложены за спиной, голову он поднял вверх. Павел толкнул его плечом и снова крикнул:

— Рядом! Не имеешь права! — Впереди — знамя!

— Ра-азойтись! — тонким голосом кричал маленький офицерик, размахивая белой саблей. Ноги он поднимал высоко и, не сгибая в коленях, задорно стучал подошвами о землю. В глаза матери бросились его ярко начищенные сапоги.

А сбоку и немного сзади него тяжело шёл рослый бритый человек, с толстыми седыми усами, в длинном сером пальто на красной подкладке и с жёлтыми лампасами на широких штанах.

К Павлу подскочил маленький офицерик, схватился рукой за древко, визгливо крикнул:

— Брось!

— Прочь руки! — громко сказал Павел.

Знамя красно дрожало в воздухе, наклоняясь вправо и влево, и снова встало прямо — офицерик отскочил, сел на землю. Мимо матери несвойственно быстро скользнул Николай, неся перед собой вытянутую руку со сжатым кулаком.

— Взять их! — рывкнул старик, топнув в землю ногой.

Несколько солдат выскочили вперёд. Один из них взмахнул прикладом — знамя вздрогнуло, наклонилось и исчезло в серой кучке солдат.

— Эх! — тоскливо крикнул кто-то.

И мать закричала звериным, воющим звуком. Но в ответ ей из толпы солдат раздался ясный голос Павла:

— До свиданья мама! До свиданья, родная...

— Жив! Вспомнил! — дважды ударило в сердце матери.

— До свиданья, ненько моя!

Поднимаясь на носки, взмахивая руками, она старалась увидеть их и видела над головами солдат круглое лицо Андрея — оно улыбалось, оно кланялось ей.

— Родные мои... Андрюша!.. Паша!.. — кричала она.

— До свиданья, товарищи! — крикнули из толпы солдат.

Им ответило многократное, разорванное эхо. Оно отозвалось из окон откуда-то сверху, с крыш...

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### XXIV.

(В этой и в следующих главах изображается суд над Павлом Власовым, Андреем Находкой и другими участниками первомайской демонстрации. Пелагея Ниловна среди других родственников подсудимых присутствует на судебном заседании.)

Но вот поднялся Павел, и вдруг стало неожиданно тихо. Мать качнулась всем телом вперёд. Павел заговорил спокойно:

— Человек партии, я признаю только суд моей партии и буду говорить не в защиту свою, а — по желанию моих товарищей, тоже отказавшихся от защиты — попробую объяснить вам то, чего вы не поняли. Прокурор назвал наше выступление под знаменем социал-демократии бунтом против верховной власти и всё время рассматривал нас, как бунтовщиков против царя. Я должен заявить, что для нас самодержавие не является единственной цепью, оковавшей тело страны, оно только первая и ближайшая цепь, которую мы обязаны сорвать с народа...

Тишина углублялась под звяками твёрдого голоса, он как бы расширял стены зала. Павел точно отодвигался от людей далеко в сторону, становясь выпуклее.

Судьи зашевелились тяжело и беспокойно. Предводитель дворянства что-то прошептал судье с ленивым лицом, тот кивнул головой и обратился к старичку, а с другой стороны в то же время ему говорил в ухо больной судья. Качаясь в кресле вправо и влево, старичок что-то сказал Павлу, но голос его утонул в ровном и широком потоке речи Власова.

— Мы — социалисты. Это значит, что мы враги частной собственности, которая разъединяет людей, вооружает их друг против друга, создаёт непримиримую вражду интересов, лжёт, стараясь скрыть или оправдать эту вражду, и развращает всех ложью, лицемерием и злобой. Мы говорим: общество, которое рассматривает человека только как орудие своего обогащения, — противочеловечно, оно враждебно нам, мы не можем примириться с его моралью, двуличием и лживой; цинизм и жестокость его отношения к личности противны нам, мы хотим и будем бороться против всех форм физического и морального порабощения человека таким обществом, против всех приёмов дробления человека в угоду корыстолюбию. Мы, рабочие — люди, трудом которых создаётся всё — от гигантских машин до детских игрушек, мы — люди, лишённые права бороться за своё человеческое достоинство, нас каждый старается и может обратить в орудие для достижения своих целей, мы хотим теперь иметь столько свободы, чтобы она дала нам возможность со временем завоевать всю власть. Наши лозунги просты — долой частную собственность, все средства производства — народу, вся власть — народу, труд обязателен для всех. Вы видите — мы не бунтовщики!

Павел усмехнулся, медленно провёл рукой по волосам, огонь его голубых глаз вспыхнул светлее.

— Прошу вас, — ближе к делу! — сказал председатель внятно и громко. Он повернулся к Павлу грудью, смотрел на него, и матери казалось, что его левый тусклый глаз разгорается нехорошим, жадным огнём. И все судьи смотрели на её сына так, что, казалось, их глаза прилипают к его лицу, присасываются к телу, жаждут его крови, чтобы оживить ею свои изношенные тела. А он, прямой, высокий, стоя твёрдо и крепко, протягивал к ним руку и негромко, чётко говорил:

— Мы — революционеры и будем таковыми до поры, пока одни — только командуют, другие — только работают. Мы стоим против общества, интересы которого вам приказано защищать, как непримиримые враги его и ваши, и примирение между нами невозможно до поры, пока мы не победим. Победим мы, рабочие!

(Пелагея Ниловна берёт на себя поручение отвезти для распространения листовки, в которых напечатана речь её сына на суде.)

На улице морозный воздух сухо и крепко обнял тело, проник в горло, защекотал в носу и на секунду сжал дыхание в груди. Остановясь, мать оглянулась: близко от неё на углу стоял извозчик в мохнатой шапке, далеко — шёл какой-то человек, согнувшись, втягивая голову в плечи, а впереди него вприпрыжку бежал солдат, потирая уши.

— Должно быть, в лавочку послали солдатика! — подумала она и пошла, с удовольствием слушая, как молодо и звучно скрипит снег под её ногами. На вокзал она пришла рано, ещё не был готов её поезд, но в грязном закопчённом дымом зале третьего класса уже собралось много народа — холод согнал сюда путейских рабочих, пришли погреться извозчики и какие-то плохо одетые, бездомные люди. Были и пассажиры, несколько крестьян, толстый купец в енотовой шубе, священник с дочерью, рябой девицей, человек пять солдат, суетливые мещане. Люди курили, разговаривали, пили чай, водку. У буфета кто-то раскатисто смеялся, над головами носились волны дыма. Визжала, открываясь, дверь, дрожали и звенели стёкла, когда её с шумом захлопывали. Запах табаку и солёной рыбы густо бил в нос.

Мать села у входа на виду и ждала. Когда открывалась дверь — на неё налетало облако холодного воздуха, это было приятно ей, и она глубоко вдыхала его полною грудью. Входили люди с узлами в руках — тяжело одетые, они неуклюже застревали в двери, ругались и, бросив на пол или на лавку вещи, стряхивали сухой иней с воротников пальто и с рукавов, отирали его с бороды, усов, крикали.

Вошёл молодой человек с жёлтым чемоданом в руках, быстро отглянулся и пошёл прямо к матери.

— В Москву? — негромко спросил он.

— Да. К Тане.

— Вот!

Он поставил чемодан около неё на лавку, быстро вынул папироску, закурил её и, приподняв шапку, молча ушёл к другой двери. Мать погладила рукой холодную кожу чемодана, облокотилась на него и, довольная, начала рассматривать публику. Через минуту она встала и пошла на другую скамью, ближе к выходу на перрон. Чемодан она легко держала в руке, он был не велик, и шла, подняв голову, рассматривая лица, мелькавшие перед нею.

Какой-то молодой человек в коротком пальто с поднятым воротником столкнулся с нею и молча отскочил, взмахнув рукою к голове. Ей показалось что-то знакомое в нём, она огляну-

лась и увидала, что он одним светлым глазом смотрит на неё из-за воротника. Этот внимательный глаз уколол её, рука, в которой она держала чемодан, вздогнула, и ноша вдруг отяжелела.

Тогда, одним большим резким усилием сердца, которое как бы встряхнуло её всю, она погасила все эти хитрые, маленькие слабые огоньки, повелительно сказав себе:

— Стыдись!

Ей сразу стало лучше, и она совсем окрепла, добавив:

— Не позорь сына-то! Никто не боится.

Глаза её встретили чей-то унылый, робкий взгляд. Потом в памяти мелькнуло лицо Рыбина. Несколько секунд колебаний точно уплотнили всё в ней. Сердце забилося спокойнее.

— Что ж теперь будет? — думала она, наблюдая.

Шпион подозвал сторожа и что-то шептал ему, указывая на неё глазами. Сторож оглядывал его и пятился назад. Подошёл другой сторож, прислушался, нахмурил брови. Он был старик, крупный, седой, небритый. Вот он кивнул шпиону головой и пошёл к лавке, где сидела мать, а шпион быстро исчез куда-то.

Старик шагал не торопясь, внимательно щупая сердитыми глазами лицо её. Она подвинулась в глубь скамьи.

— Только бы не били...

Он остановился рядом с нею, помолчал и негромко сурово спросил:

— Что глядишь?

— Ничего.

— То-то, — воровка! — Старая уж, а — туда же!

Ей показалось, что его слова ударили её по лицу, раз и два; злые, хриплые, они делали больно, как будто рвали щёки, выхлёстывали глаза...

— Я? Я не воровка, врешь! — крикнула она всею грудью, и всё перед нею закружилось в вихре её возмущения, опьяняя сердце горечью обиды. Она рванула чемодан, и он открылся.

— Гляди! Глядите все! — кричала она, вставая, взмахнув над головою пачкой выхваченных прокламаций. Сквозь шум в ушах она слышала восклицания сбегавшихся людей и видела — бежали быстро, все, отовсюду.

— Что такое?

— Вот сыщик...

— Что это?

— Украла, говорят...

— Почтенная такая — ай-ай-ай!

— Я не воровка! — говорила мать полным голосом, немного успокаиваясь при виде людей, тесно напиравших на неё со всех сторон.

— Вчера судили политических, там был мой сын — Власов,

он сказал речь — вот она! Я везу её людям, чтобы они читали, думали о правде...

Кто-то осторожно потянул бумаги из её рук, она взмахнула ими в воздухе и бросила в толпу.

— За это тоже не похвалят! — воскликнул чей-то пугливый голос.

Мать видела, что бумаги хватают, прячут за пазухи<sup>1</sup>, в карманы — это снова крепко поставило её на ноги. Спокойнее и сильнее, вся напрягалась и чувствуя, как в ней растёт разбухшая гордость, разгорается подавленная радость, она говорила, выхватывая из чемодана пачки бумаги и разбрасывая их налево и направо в чьи-то быстрые, жадные руки.

— За что судили сына моего и всех, кто с ним — вы знаете? Я вам скажу, а вы поверьте сердцу матери, седым волосам её — вчера людей за то судили, что они несут вам всем правду! Вчера узнала я, что правда эта... никто не может спорить с нею, никто!

Толпа замолчала и росла, становясь всё более плотной, слитно окружая женщину кольцом живого тела.

— Бедность, голод и болезни, вот что даёт людям их работа. Все против нас — мы издыхаем всю нашу жизнь день за днём в работе, всегда в грязи, в обмане, а нашими трудами тешатся и объедаются другие, и держат нас, как собак на цепи, в невежестве — мы ничего не знаем, а в страхе — мы всего боимся! Ночь — наша жизнь, тёмная ночь!

— Так! — глухо раздалось в ответ.

— Заткни глотку ей!

Сзади толпы мать заметила шпиона и двух жандармов, и она торопилась отдать последние пачки, но когда рука её опустилась в чемодан, там она встретила чью-то чужую руку.

— Берите, берите! — сказала она, наклоняясь.

— Разойдись! — кричали жандармы, расталкивая людей. Они уступали толчкам неохотно, зажимали жандармов своею массою, мешали им, быть может, не желая этого. Их властно привлекала седая женщина с большими честными глазами на добром лице.

Другой схватил другую руку и, крупно шагая, они повели мать.

Глаза у неё расширились, сверкнули, задрожала челюсть. Упираясь ногами в скользкий камень пола, она крикнула:

— Душу воскресшую — не убьют!

— Собака!

Шпион ударил её в лицо коротким взмахом руки.

— Так её, стерву старую! — раздался злорадный крик.

Что-то чёрное и красное на миг ослепило глаза матери, солёный вкус крови наполнил рот.

<sup>1</sup> Пазуха — место между грудью и одеждой.

Дробный, яркий взрыв криков оживил её.

— Не смей бить!

— Ребята!

— Ах ты, мерзавец!

— Дай ему!

— Не зальют кровью разума!

Её толкали в шею, спину, били по плечам, по голове, всё закружилось, завертелось тёмным вихрем в криках, вое, свисте, что-то густое, оглушающее лезло в уши, набивалось в горло, душило, пол проваливался под её ногами, колебался, ноги гнулись, тело вздрагивало в ожогах боли, отяжелело и качалось, бессильное. Но глаза её не угасали и видели много других глаз — они горели знакомым ей смелым, острым огнём — родным её сердцу огнём.

Её толкали в двери.

Она вырвала руку, схватилась за косяк<sup>1</sup>.

— Морями крови не угасят правды...

Ударили по руке.

— Только злобы накопите, безумные! На вас она падёт!

Жандарм схватил её за горло и стал душить.

Она хрипела.

— Несчастные...

Кто-то ответил ей громким рыданием.

(1906 г.)

---

<sup>1</sup> Косяк — часть дверной или оконной рамы.

# В. В. МАЯКОВСКИЙ

(1893—1930)

## СТИХИ О СОВЕТСКОМ ПАСПОРТЕ

Я волком бы  
выгрыз  
бюрократизм.  
К мандатам  
почтения нету.  
К любым  
чертям с матерями  
катись  
любая бумажка.  
Но эту . . .  
По длинному фронту  
купе  
и кают  
чиновник  
учтивый  
движется.  
Сдают паспорта,  
и я сдаю  
мою  
пурпурную книжицу.  
К одним паспортам —  
улыбка у рта.  
К другим —  
отношение плёвое.  
С почтеньем  
берут, например,  
паспорта  
с двухспальным английским лёвою.  
Глазами  
доброго дядю выев,  
не переставая  
кланяться,  
берут,  
как будто берут чаевые,  
паспорт  
американца.



хоть вещи  
                                снесёт задаром вам.  
Жандарм  
                                вопросительно  
  смотрит на сыщика,  
сыщик  
                                на жандарма.  
С каким наслаждением  
  жандармской кастой  
я был бы  
                                исхлёстан и распят  
за то, что  
                                в руках у меня  
  молоткастый,  
серпастый советский паспорт. .  
Я волком бы  
                                выгрыз  
  бюрократизм.  
К мандатам  
                                почтения нету.  
К любым  
                                чертям с матерями катись  
любая бумажка.  
                                Но эту ...  
Я  
                                достаю  
  из широких штанин  
дубликатом  
                                бесценного  
  груза.  
Читайте,  
                                завидуйте,  
  я —  
  гражданин  
Советского Союза.

## ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН

*(Отрывки из поэмы)*

Время —  
                                начинаю  
  про Ленина рассказ.  
Но не потому,  
                                что горя  
  нету более,

время,  
потому, что резкая тоска  
стала ясною,  
осознанною болью.  
Время,  
снова ленинские лозуги развихрь!  
Нам ли  
растекаться слёзной лужею?  
Ленин  
и теперь живее всех живых.  
Наше знание  
сила  
и оружие ...

## II

... Сегодня  
настоящей болью,  
сердце, холодей!  
Мы хороним  
самого земного  
изо всех  
прошедших  
по земле людей.  
Он земной,  
но не из тех,  
кто глазом  
упирается  
в своё корыто.  
Землю  
всю  
охватывая разом,  
видал  
то,  
что временем закрыто.  
Он, как вы  
и я,  
совсем такой же,  
только,  
может быть,  
у самых глаз  
мысли  
больше нашего  
морщинат кожей,

да насмешливей  
и твёрже губы,  
чем у нас.  
Не сатрапья твёрдость,  
триумфаторской коляской  
мнущая  
тебя,  
подёргивая вожжи.  
Он  
к товарищу  
милел  
людскою лаской.  
Он  
к врагу  
вставал  
железа твёрже.

### III

Слова  
у нас,  
до важного самого,  
в привычку входят,  
ветшают, как платье.  
Хочу  
сиять заставить заново  
величественнейшее слово —  
партия.  
Единица!  
Кому она нужна?!  
Голос единицы  
тоньше писка.  
Кто её услышит?  
Разве жена!  
И то,  
если не на базаре,  
а близко.  
Партия —  
это  
единый урган,  
из голосов спрессованный  
тихих и тонких,  
от него лопаются  
укрепления врага,  
как в канонаду  
от пушек —  
перепонки.



Мозг класса,  
дело класса,  
сила класса,  
слава класса —  
вот что такое партия.

Партия и Ленин —  
близнецы-братья —,  
кто более  
матери-истории ценен?  
Мы говорим — Ленин,  
подразумеваем — партия,  
мы говорим — партия,  
подразумеваем — Ленин.

#### IV

Если бы  
выставить в музее  
плачущего большевика,  
весь день бы  
в музее  
торчали ротозои.  
Ещё бы —  
такое  
не увидишь и в века!  
Пятиконечные звёзды  
выжигали на наших спинах  
панские воеводы.

Живьём  
по голову в землю,  
закапывали нас банды  
Мамонтова.

В паровозных топках  
сжигали нас японцы,  
рот заливали свинцом и оловом.  
Отрекитесь! — ревели,  
но из  
горящих глоток лишь три слова:  
— Да здравствует коммунизм! —  
Кресло за креслом  
ряд в ряд  
эта сталь,  
железо это  
вваливалось  
двадцать второго января

в пятиэтажное здание  
Съездов Советов.  
Усаживались,  
кидались усмешкою,  
решали,  
походя,  
мелочь дел.  
Пора открывать!  
Чего они мешкают?  
Чего  
президиум,  
как вырубленный, поредел?  
Отчего  
глаза  
краснее ложи?  
Что с Калининым?  
Держится еле.  
Несчастье?  
Какое?  
Быть не может!  
А если с ним? . . .  
Нет!  
Неужели?  
Потолок  
на нас  
пошёл снижаться вороном.  
Опустила головы —  
ещё нагни!  
Задрожали вдруг  
и стали чёрными  
люстр расплывшихся огни.  
Захлебнулся  
колокольчика ненужный щёлк.  
Превозмог себя  
и встал Калинин.  
Слёзы не сжуёшь  
с усов и щёк.  
Выдали.  
Блестят у бороды на клине.  
Мысли смешались,  
голову мнут.  
Кровь в виски,  
клокочет в вене.  
— Вчера  
в шесть часов пятьдесят минут  
скончался товарищ Ленин! —



Это  
его  
несут с Павелецкого  
по городу,  
взятому им у господ.  
Улица — будто рана сквозная,  
так болит  
и стонет так.  
Здесь  
каждый камень  
Ленина знает  
по топоту  
первых  
октябрьских атак.  
Здесь  
всё,  
что каждое знамя  
вышило,  
задумано им  
и велено им.

Здесь  
каждая башня  
Ленина слышала,  
за ним пошла бы в огонь и дым.

Здесь  
Ленина  
знает  
каждый рабочий,  
сердца ему  
ветками ёлок стели.  
Он в битву вёл,  
победу пророчил,  
и вот  
пролетарий —  
всего властелин ...

## VII

И коммунары  
с-под площади Красной,  
казалось  
шепчут:  
— Любимый и милый!  
Живи,  
и не надо  
судьбы прекрасней —  
сто раз сразимся  
и ляжем в могилы! —

## VIII

Вовек  
         такого  
                 бесценного груза  
 ещё  
         не несли  
                 океаны наши,  
 как гроб этот красный  
                                 к дому союзов  
 плывущий  
                 на спинах рыданий и маршей  
 Ещё  
         в караул  
                 вставала в почётный  
 суровая гвардия  
                 ленинской выправки,  
 а люди  
         уже  
                 прожидают, впечатаны  
 во всю длину  
                 и Тверской  
                                 и Димитровки.  
 В семнадцатом  
                 было —  
                         в очередь дочери  
 за хлебом не вышлешь —  
                                 завтра съем!  
 Но в эту  
         холодную  
                 страшную очередь  
 с детьми и больными  
                                 вставали все ...

## IV

Мороз небывалый  
                 жарил подошвы.  
 А люди  
         днюют  
                 давкою тесной.  
 Даже  
         от холода  
                 быть в ладоши  
 никто не решается —  
                         нельзя  
                                 неуместно.







чей-то голос:  
«Шагом марш».  
Этого приказа  
и не нужно даже, —  
реже,  
ровнее,  
твёрже дыша,  
с трудом  
открывая  
тело-тяжесть,  
с площади  
вниз  
вбиваем шаг.  
Каждое знамя  
твёрдыми руками  
вновь  
над головою  
взвито ввысь.  
Топота потоп,  
сила кругами,  
ширясь,  
расходится  
миру в мысль.

## XI

Общая мысль  
воедино созвеньена  
рабочих крестьян  
и солдат-рубак:  
— Трудно  
будет  
республике без Ленина!  
Надо заменить его —  
кем?  
И как?  
Довольно валяться на перине клоповой!  
Товарищ секретарь!  
На тебе —  
вот —  
просим приписать  
к ячейке еркаповой  
сразу,  
коллективно,  
весь завод ... —  
Смотрят  
буржуи,  
глазки раскоряча,

дрожит  
от топота крепких ног.  
Четыреста тысяч  
от станка  
горячих —  
Ленину  
первый  
партийный венок ...

## XII

Напрасно  
кулак Европы задран.  
Кроем их грохотом.  
Назад!  
Не сметь!  
Стала  
величайшим  
коммунистом-организатором  
даже  
сама  
Ильичёва смерть.  
Уже  
над трубами  
чудовищной роши,  
руки  
миллионов  
сложив в древко,  
красным знаменем  
Красная площадь  
вверх  
вздымается  
страшным рывком.  
С этого знамени,  
с каждой складки  
снова  
живой  
взывает Ленин:  
— Пролетарии,  
стройтесь,  
к последней схватке!  
Рабы,  
разгибайте  
спины и колени!  
Армия пролетариев,  
стань стройна!

Да здравствует революция,  
радостная и скорая!  
Это —  
единственная  
великая война  
из всех,  
какие знала история.

## ВО ВЕСЬ ГОЛОС

(В сокращении)

Слушайте  
товарищи потомки,  
агитатора,  
горлана-главаря.  
Заглуша  
поэзии потоки,  
я шагну  
через лирические томики,  
как живой  
с живыми говоря ...  
Мой стих трудом  
громаду лет прорвёт  
и явится  
весомо,  
грубо,  
зримо,  
как в наши дни  
вошёл водопровод,  
сработанный  
ещё рабами Рима,  
В курганах книг,  
похоронивших стих,  
железки строк  
случайно обнаруживая,  
Вы  
с уважением  
ощупывайте их,  
как старое,  
но грозное оружие ...  
Парадом развернув  
моих страниц войска.  
я прохожу  
по строчечному фронту.  
Стихи стоят  
свинцово-тяжело,

готовые и к смерти  
 и к бессмертной славе.  
 Поэмы замерли  
 к жерлу, прижав жерло  
 нацеленных  
 зияющих заглавий.  
 Оружия  
 любимейшего род,  
 готовая  
 рвануться в гике,  
 застыла  
 кавалерия острот,  
 поднявши рифм  
 отточенные пики.  
 И все  
 поверх зубов вооружённые войска,  
 что двадцать лет в победах  
 пролетали,  
 до самого  
 последнего листка  
 я отдаю тебе,  
 планеты пролетарий.  
 Рабочего  
 громады класса враг —  
 он враг и мой,  
 отъявленный и давний.  
 Велели нам идти  
 под красный флаг  
 года труда  
 и дни недоеданий.  
 Мы открывали  
 Маркса  
 каждый том,  
 как в доме  
 собственном  
 мы открываем ставни,  
 но и без чтения  
 мы разбирались в том,  
 в каком идти,  
 в каком сражаться стане.  
 Мы  
 диалектику  
 учили не по Гегелю.  
 Бряцанием боёв  
 она врывалась в стих,

когда  
                   под пулями  
                                   от нас буржуи бегали,  
 как мы  
                   когда-то  
                                   бегали от них.  
 Пускай  
                   за гениями  
                                   безутешною вдовой  
 плетётся слава  
                                   в похоронном марше, —  
 умри, мой стих,  
                                   умри, как рядовой,  
 как безымянные  
                                   на штурмах мерли наши.  
 Мне наплевать  
                                   на бронзы многопудье,  
 мне наплевать  
                                   на мраморную слизь.  
 Сочтёмся славою, —  
                                   ведь мы свои же люди, —  
 пускай нам  
                                   общим памятником будет  
 построенный  
                                   в боях  
                                   социализм ...  
 Мне  
                   и рубля  
                                   не накопили строчки,  
 краснодеревщики  
                                   не слали мебель на дом.  
 И кроме  
                                   свежевымытой сорочки,  
 скажу по совести,  
                                   мне ничего не надо.  
 Явившись  
                   в Це Ка Ка  
                                   идущих  
                                   светлых лет,  
 над бандой  
                                   поэтических  
                                   рвачей и выжиг  
 я подыму,  
                                   как большевистский партбилет,  
 все сто томов  
                                   моих  
                                   партийных книжек.

## РОМАН «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»

В 30-ые годы Шолохов начал работу над романом «Поднятая целина». В 1932 году он опубликовал первую книгу нового романа.

### «Поднятая целина»

В центре романа борьба двух ярко противопоставленных друг другу лагерей — лагеря социализма и контрреволюции. Действие романа происходит на хуторе Гремячий Лог и вокруг него. В Гремячий Лог приезжает одновременно белогвардеец-офицер Половцев и коммунист Давыдов. Давыдов послан партией в деревню для того, чтобы поднять трудящиеся массы на борьбу с кулачеством. Половцев приезжает для того, чтобы сорвать строительство социализма в деревне. Коммунисты во главе с Давыдовым борются за социалистическое строительство в деревне и побеждают.

### Образы коммунистов

Давыдов — бывший путиловский рабочий, слесарь, ранее был матросом, участвовал в гражданской войне. Это испытанный и закалённый боец революции. Давыдов выступает в романе, как человек политически сильный и умный. Его умение разбираться в обстановке сразу обнаруживается при встрече с секретарём райкома Корчжинским. Тот советует Давыдову действовать в деревне осторожно, не ущемлять интересов кулачества. И это в тот момент, когда партия говорит об уничтожении кулачества, как класса! Давыдов решительно возражает Корчжинскому: «Я буду проводить линию партии, а тебе, товарищ, рубану напрямик, по-рабочему: твоя линия неправильная, политически ошибочная». Давыдов знает и понимает народ. В Гремячем Логе он быстро находит с казаками общий язык. Происходит это потому, что он такой же трудящийся человек, как и они.

Умелый организатор масс, Давыдов знает, что иногда следует действовать на казаков не словом, а примером. Когда у колхозников не ладится с севом, Давыдов сам берётся пахать, хотя никогда в жизни не пахал:

«Умру на пашне, а сделаю! Ночью при фонаре буду пахать, а вспашу десятину с четвертью, иначе нельзя. Позор всему рабочему классу». Давыдов политически воспитывает и гремяченских коммунистов.

Председатель сельсовета Размётнов отказывается от участия в раскулачивании из жалости к кулакам, и Давыдов говорит ему: «Ты их жалеешь... Жалко тебе их. А они нас жалели? Враги плакали от слёз наших детей? Над сиротами убитых плакали? Эка, дурило ты!»

А когда секретарь гремяченской ячейки Нагульнов предлагает расстрелять всех, кто перед вступлением в колхоз резал скот, что он не был обобществлён, Давыдов говорит ему: «Ты бы лучше массовую работу вёл, разъяснял нашу политику. А расстрелять — это просто».

Мужественным и стойким коммунистом выступает Давыдов в сцене «бабьего бунта». Ему грозит смерть от разъярённой толпы, которая избивает его до полусмерти, но он не теряет твёрдости духа. Он готов погибнуть, но интересов дела, которому служит, он не предаст.

После того, как порядок был восстановлен, он обращается к казакам: «Из вас, граждане, шли несознательные возгласы, чтобы женщины меня били, и они меня били всем, чем попадя...

Но, граждане, не из такого мы, большевики, теста, чтобы из нас кто-нибудь мог фигуры делать! Меня в гражданскую войну юнкера били, да и то ничего не выбили! На коленях большевики ни перед кем не стояли и никогда стоять не будут, факт! Мы, граждане, сами привыкли врагов пролетариата на колени ставить. И мы их поставим».

Давыдов воспитывает других и сам растёт, обогащается опытом, становится подлинным руководителем масс. Замечательной чертой Давыдова является его мечта о будущем. Давыдов говорит о казачонке Федотке: «Хорошую жизнь им построим, факт! Бегаёт сейчас Федотка в отцовском картузе казачьего фасона, а лет через 20 будет электроплугом наворачивать вот эту землю... Счастливые будут Федотки, факт!»

Шолохов сумел показать в образе Давыдова не только настоящего коммуниста, но и простого, милого, жизнерадостного парня.

Изобразил писатель и других коммунистов: — Размётнова — председателя сельсовета, Нагульнова — секретаря гремяченской ячейки.

**Размётнов** — честный и преданный революции боец, но он политически недостаточно грамотен. Он жалеет врагов революции, доверяет врагу Островнову. Шолохов показывает, какую большую опасность для революции таит в себе ошибки Размётнова.

**Нагульнов** — человек, преданный революции. Он мечтает о революции во всем мире. Ненавидит всем сердцем врагов революции. Но и Нагульнов совершает немало ошибок. Он угрозами заставляет крестьян вступить в колхоз и за это его исключают из партии. Шолохов показывает, что при всей преданности революции, такие люди, как Нагульнов, могут принести ей немалый вред. В огне классовых боёв деревенские коммунисты закаляются и становятся действительными руководителями крестьянских масс.

### Классовые враги

Коммунистам и крестьянам, строящим новую жизнь, противостоит в романе кучка злобных врагов народа. Их вожак — шпион и убийца Половцев. Все его действия продиктованы дикой ненавистью к освобожденному народу. «Рубить! Рубить! Рубить беспощадно» — говорит Половцев.

Другой враг — белый офицер Лятевский уже понимает, что нельзя назад повернуть колесо истории. Когда попытка Половцева — поднять восстание, провалилась, Лятевский говорит ему: «Кто вы такой? ... А я скажу вам, кто вы такой ... Патриот без отечества, полководец без армии, и, если эти сравнения вы находите слишком высоким и отвлечёнными — игровишка без единого золотого в кармане».

Замаскированный и страшный враг — Яков Островнов. Он надел на себя маску сторонника новой жизни. Он даже агитирует крестьян за вступление в колхоз. На самом же деле он ненавидит советскую власть, он — смертельный враг революции.

Шолохов говорит о нём: «Советская власть Якову Лукичу и он ей — враги, крест-на крест. Яков Лукич, как ребёнок к огоньку, всю жизнь тянулся к богатству. До революции начал крепнуть».

Шолохов в своём романе учит распознавать яростных противников социализма в любой маске.

В романе писатель не только показал направляющую роль партии в борьбе против врагов социализма, но и борьбу народных масс за социалистическую деревню.

В ряду крестьянских образов романа центральное место занимает Кондрат Майданников.

Кондрат Майданников — середняк. В прошлом он с оружием в руках защищал советскую власть. Когда в деревне началась коллективизация, Майданников круто повернул в её сторону.

Но разрыв с собственным миром даётся не сразу. Он по ночам не спит иногда и думает о своём добре. В нём борются два начала — разум советского человека и старые предрассудки собственника. «Кондрат уже давно не верит в бога, а верит в Коммунистическую партию, . . . Он свёл на колхозную базу всю скотину, всю — до пера — отнёс птицу. Он — за то, чтобы хлеб ел и траву топтал только тот, кто работает. Он накрепко неотрывно прирос к Советской власти. А вот не спится Кондрату по ночам . . . И не спится потому, что осталась в нём жалость-гадюка к своему добру, которого сам он добровольно лишился». Но разум труженика наконец побеждает, и Майданников становится одним из лучших представителей новой деревни.

Главная идея романа — идея исторической неизбежности и закономерности победы социализма.

## СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

(Краткое содержание)

В 1957 году был опубликован рассказ Шолохова «Судьба человека».

Главный герой рассказа — Андрей Соколов. Это простой человек с большим и мужественным сердцем. Нелегкую жизнь прожил он. В гражданскую войну был в Красной Армии. Отец с матерью в это время от голода умерли. Остался он один. Сначала работал плотником, потом слесарем на заводе. Женился. Жена оказалась доброй и приветливой женщиной. Жили дружно и весело, и дети росли хорошие, все трое учились на «отлично». Началась война. Но воевать не пришлось и года. Попал Андрей в плен в мае сорок второго года. Попал он в руки фашистов тяжело раненым, без сознания. Скоро Соколов вместе с другими пленными очутился в Германии. Чего ему только не довелось пережить в плену: «Били за то, что ты — русский, за то, что на белый свет еще смотришь, за то, что на них работаешь. Били и за то, что не так взглянешь, не так ступишь, не так повернешься. Били запросто, для того, чтобы когда-нибудь да убить досмерти, чтобы захлебнулся своей последней кровью и подох от побоев. Печей-то, наверно, на всех на нас не хватало в Германии» — рассказывает Соколов.

Однажды удалось ему бежать из плена и перейти линию фронта. И вот Андрей Соколов снова среди друзей. Его сразу же отправили в госпиталь лечиться, потому что был он после плена очень слабым. Из госпиталя написал он письмо жене. Долго ждал ответа. Наконец пришел ответ, но не от жены, а от соседа. Сосед написал Андрею, что в июне сорок второго года погибли его жена и дочери. Но месяца через три пришло письмо с фронта от сына. Сын на фронте был уже капитаном. Обрадо-

вался Андрей, узнав, что сын его жив, почувствовал себя счастливым. Стал мечтать о встрече с сыном. Но 9 мая утром, в день победы, убили Анатолия. Похоронили его в чужой немецкой земле.

Кончилась война. Андрей Соколов демобилизовался и поехал на работу в город Урюпинск. И вот однажды увидел он маленького оборвыша, такого же одинокого, как и он сам. И отец, и мать у мальчика погибли. И решил Андрей Соколов усыновить малыша. Два осиротевших человека нашли друг друга, обрели человеческое счастье.

Рассказ глубоко реалистичен. Шолохов раскрывает в своем герое такие творческие силы, такое стремление жить и жить ради людей, какое по силам только советскому человеку. Горе не выбило Андрея из строя. Он нашел в себе силы для того, чтобы жить и делать счастливее жизнь других.

## СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

(Отрывки из повести)

### I отрывок.

Видишь, какое дело, браток, еще с первого дня задумал я уходить к своим. Но уходить хотел наверняка. До самой Познани, где разместили нас в настоящем лагере, ни разу не предоставился мне подходящий случай. А в Познанском лагере вроде такой случай нашелся: в конце мая послали нас в лесок возле лагеря рыть могилы для наших же умерших военнопленных, много тогда нашего брата мерло от дизентерии; рою я познанскую глину, а сам посматриваю кругом и вот приметил, что двое наших охранников сели закусывать, а третий придремал на солнышке. Бросил я лопату и тихо пошел за куст... А потом — бегом, держу прямо на восход солнца.

Видать, нескоро они спохватились, мои охранники. А вот откуда у меня, у такого тошального, силы взялись, чтобы пройти за сутки почти сорок километров, — сам не знаю. Только ничего у меня не вышло из моего мечтания: на четвертые сутки, когда я был уже далеко от проклятого лагеря, поймали меня. Собаки сыские шли по моему следу, они меня и нашли в нежном овсе.

На заре побоялся я идти чистым полем, а до леса было не меньше трех километров, я и залег в овсе на дневку. Намял в лагоднях зёрен, пожевал немного и в карманы насыпал про запас, и вот слышу собачий брех, и мотоцикл трещит... Оборвалось у меня сердце, потому что собаки все ближе голоса подают. Лег я плашмя и закрылся руками, чтобы они мне хоть лицо не обгрызли. Ну, добежали и в одну минуту спустили с

меня все мое рванье. Катали они меня по овсу, как хотели, и под конец один кобель стал мне на грудь передними лапами и целится в глотку, но пока еще не трогает.

На двух мотоциклах подъехали немцы. Сначала сами били в полную волю, а потом натравили на меня собак, и с меня только кожа с мясом полетели клочьями. Голого, всего в крови и привезли в лагерь. Месяц отсидел в карцере за побег, но все-таки живой... живой я остался!..

Тяжело мне, браток, вспоминать, а еще тяжелее рассказывать о том, что довелось пережить в плену. Как вспомнишь людские муки, какие пришлось вынести там, в Германии, как вспомнишь всех друзей — товарищей, какие погибли замученные там, в лагерях, — сердце уже не в груди, а в глотке бьется, и трудно становится дышать...

Куда меня только не гоняли за два года плена! Половину Германии объехал за это время: и в Саксонии был, на силикатном заводе работал, и в Рурской области на шахте уголек откатывал, и в Баварии на земляных работах горб наживал, и в Тюрингии побывал, и чер-те где только не пришлось по немецкой земле походить. Природа везде там, браток, разная, но стреляли и били нашего брата везде одинаково. А били богом проклятые гады и паразиты так, как у нас сроду животину не бьют. И кулаками били, и ногами топтали, и резиновыми палками били, и всяческим железом, какое под руку попадет, не говоря уже про винтовочные приклады и прочее дерево.

Били за то, что ты — русский, за то, что на белый свет еще смотришь, за то, что на них, сволочей, работаешь. Били и за то, что не так взглянешь, не так ступнешь, не так повернешься. Били запросто, для того, чтобы когда-нибудь да убить до смерти, чтобы захлебнулся своей последней кровью и подох от побоев. Печей-то, наверно, на всех нас не хватало в Германии.

## II отрывок.

Похоронил я в чужой, немецкой земле последнюю свою радость и надежду, ударила батарея моего сына, провожая своего командира в далекий путь, и словно что-то во мне оборвалось... Приехал я в свою часть сам не свой. Но тут вскорости меня демобилизовали. Куда идти? Неужто в Воронеж? Ни за что! Вспомнил, что в Урюпинске живет мой дружок, демобилизованный еще зимою по ранению, — он когда-то приглашал меня к себе, — вспомнил и поехал в Урюпинск.

Приятель мой и жена его были бездетные, жили в собственном домике на краю города. Он хотя и имел инвалидность, но работал шофером в автороте, устроился и я туда же. Поселился у приятеля. приютили они меня. Разные грузы перебрасывали мы в районы, осенью переключились на вывозку хлеба. В это

время я и познакомился с моим новым сынком, вот с этим, какой в песке играетя.

Из рейса, бывало, вернешься в город — понятно, первым делом в чайную... И вот один раз вижу возле чайной этого парнишку, на другой день — опять вижу. Этакий маленький оборвыш: личико все в арбузном соку, покрытом пылью, грязный, как прах, нечесанный, а глазенки — как звездочки ночью после дождя! И до того мне полюбился, что я уже, чудное дело, начал скучать по нем, спешу из рейса поскорее его увидеть. Около чайной он и кормился, — кто что даст.

На четвертый день из совхоза, груженный хлебом, подворачиваю к чайной. Парнишка мой сам сидит на крыльце, ножонками болтает и, по всему видать, голодный. Высунулся я в окошко, кричу ему: «Эй, Ванюшка! Садись скорее на машину, прокачу на элеватор, а оттуда вернемся сюда, пообедаем». Он от моего окрика взрогнул, соскочил с крыльца, на подножку вскарабкался и тихо так говорит: «А вы откуда знаете, дядя, что меня Ваней зовут?» И глазенки широко раскрыл, ждет, что я ему отвечу. Ну, я ему говорю, что я, мол, человек бывалый и все знаю.

Зашел он с правой стороны, я дверцу открыл, посадил его рядом с собой, поехали. Шустрый такой и нет-нет, да и взглянет на меня из-под длинных своих загнутых кверху ресниц, вздохнет. Его ли это дело? Спрашиваю «Где же твой отец, Ваня?» Шепчет: «Погиб на фронте». — «А мама?» — «Маму бомбой убило в поезде, когда мы ехали». — «А откуда вы ехали?» — «Не знаю, не помню...» — «И никого у тебя тут родных нету?» — «Никого». — «Где же ты ночуешь?» — «А где придется».

Закипела тут во мне горячая слеза, и сразу я решил. «Не бывать тому, чтобы нам порознь пропадать! Возьму его к себе в дети». И сразу у меня на душе стало легко и как-то светло. Наклонился я к нему, тихонько спрашиваю: «Ванюшка, а ты знаешь, кто я такой?» Он и спросил, как выдохнул: «Кто?» Я ему и говорю так же тихо: «Я — твой отец».

Боже мой, что тут произошло! Кинулся он ко мне на шею, целует в щеки, в губы, в лоб, а сам, как свиристель, так звонко и тоненько кричит, что даже в кабинке глушно: «Папка родненький! Я знал! Я знал, что ты меня найдешь! Все равно найдешь! Я так долго ждал, когда ты меня найдешь!» Прижался ко мне и весь дрожит, будто травинка под ветром. А у меня в глазах туман, и тоже всего дрожь бьет, и руки тресаются... Как я тогда руля не упустил, диву можно дать! Но в кювет все же нечаянно съехал, заглушил мотор. Пока туман в глазах не прошел, — побоялся ехать: как бы на кого не наскочить. Постоял так минут пять, а сынок мой все жметя ко мне изо всех силенок, молчит, вздрагивает. Обнял я его правой рукой, потихоньку прижал к себе, а левой развернул машину, поехал обратно, на

свою квартиру. Какой уж там мне элеватор, тогда мне не до элеватора было.

Бросил машину возле ворот, нового своего сынишку взял на руки, несу в дом. А он как обвил мою шею ручонками, так и не оторвался до самого места. Прижался своей щекой к моей небритой щеке, как прилип. Так я его и внес. Хозяин и хозяйка в аккурат дома были. Вошел я, моргаю им обоими глазами, бодро так говорю: «Вот и нашел я своего Ванюшку! Принимайте нас, добрые люди!» Они, оба мои бездетные, сразу сообразили, в чем дело, засуетились, забегали. А я никак сына от себя не оторву. Но кое-как уговорил. Помыл ему руки с мылом, посадил за стол. Хозяйка шей ему в тарелку налила, да как глянула, с какой он жадностью ест, так и залилась слезами. Стоит у печки плачет себе в передник. Ванюшка мой увидал, что она плачет, подбежал к ней, дергает ее за подол и говорит: «Тетя, зачем же вы плачете? Папа нашел меня возле чайной, тут всем радоваться надо, а вы плачете».

После обеда повел я его в парикмахерскую, постриг, а дома сам искупал в корыте, завернул в чистую простыню. Обнял он меня и так на руках моих и уснул. Осторожно положил его на кровать, поехал на элеватор, сгрузил хлеб, машину отогнал на стоянку — и бегом по магазинам. Купил ему штанишки суконные, рубашонку, сандалии и картуз из мочалки. Конечно, все это оказалось и не по росту и качеством никуда не годное. За штанишки меня хозяйка даже разругала. «Ты, — говорит, — с ума спятил, в такую жару одевать дитя в суконные штаны!» И моментально — швейную машину на стол, порылась в сундуке, а через час моему Ванюшке уже сатиновые трусики были готовы и беленькая рубашонка с короткими рукавами. Спать лег вместе с ним и в первый раз за долгое время уснул спокойно. Однако ночью раза четыре вставал. Проснусь, а он у меня под мышкой приютится, как воробей под застрехой, тихонько посапывает, и до того мне становится радостно на душе, что и словами не скажешь! Норовишь не ворохнуть, чтобы не разбудить его, но все-таки не утерпишь, потихоньку встанешь, зажжешь спичку и любишься на него...

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

(Отрывки)

ГЛАВА ПЯТАЯ

Со времени великого переселения народов не видела донская степь такого движения масс людей, как в эти июльские дни 1942 года.

По шоссейным, грунтовым дорогам и прямо по степи под палящим<sup>1</sup> солнцем шли со своими обозами, артиллерией, танками отступающие части Красной Армии, детские дома и сады, стада скота, грузовики, беженцы то нестройными колоннами, то вразброд, толкая перед собой тачки с вещами и с детьми на узлах.

Они шли, топча созревающие и уже созревшие хлеба и никому уже не было жаль этого хлеба — ни тем, кто топтал, ни тем, кто сеял — они стали ничьими эти хлеба: они оставались немцам. Колхозные и совхозные картофельные поля и огороды были открыты для всех. Беженцы копали картофель и пекли его в золе костров, разведённый из соломы или станичных плетней<sup>2</sup>, — у всех, кто шёл или ехал, можно были видеть в руках огурцы, помидоры, сочащийся ломоть<sup>3</sup> кавуна<sup>4</sup> или дыни. И такая пыль стояла над степью, что можно было не мигая смотреть на солнце.

То, что поверхностному взгляду отдельного человека, как песчинка вовлечённого в поток отступления и отражающего скорее то, что происходит в душе его, чем то, что совершается вокруг него, казалось случайным и бессмысленным, было на самом деле невиданным по масштабу движения огромных масс людей и материальных ценностей, приведённых в действие сложным, организованным, движущимся по воле сотен и тысяч больших и малых людей государственным механизмом войны.

Но как это бывает в вынужденном и быстром отступлении,

<sup>1</sup> Палящий — очень жаркий, обжигающий.

<sup>2</sup> Плетень — плетёная изгородь из прутьев, ветвей.

<sup>3</sup> Ломоть — большой кусок.

<sup>4</sup> Кавун (по-украински) — арбуз.

кроме главных, больших, хотя и трудных, но осмысленных движений масс войск и гражданского населения, по всем дорогам и прямо по степи в направлении на восток и юго-восток шли беженцы, мелкие учреждения и коллективы, разрозненные команды и обозы войск, разбитых в боях, потерявших связь, сби-вшихся с пути, группы военных, отставших по болезни или ранению, по недостатку транспорта. Эти, то большие, то мень-шие группы, не имевшие никакого представления о том, что же в действительности происходит на фронте, шли, куда им каза-лось вернее и выгоднее, забивали все поры<sup>1</sup> и вены главного движения и прежде всего забивали переправы через Донец, где у паромов<sup>2</sup> и понтонных мостов, подвергаясь вражеской бом-бардировке с воздуха, в течение суток крутились целые таборы<sup>3</sup> людей, машин, подвод.

Как ни бессмысленно для гражданских людей было движе-ние на Каменск в условиях, когда немецкие части уже вышли далеко по ту сторону Донца, на Морозовский, значительная часть беженцев из Краснодона устремилась именно в этом на-правлении, потому что в этом направлении двигались только что миновавшие Краснодон головные части дивизии, перебра-сываемой на подкрепление нашей обороны на Донце южнее Миллерова.

И именно в этот поток попала запряжённая двумя добрыми гнедыми конями селянская<sup>4</sup> телега, на которой ехали Уля Гро-мова, Анатолий Попов, Виктор Петров и его отец.

Едва скрылись из глаз последние хуторские строения, когда подвода среди других подвод и машин уже перевалила на по-логий<sup>5</sup> съезд с холма, из глубины неба внезапно вырвался чу-довищный рёв мотора, и снова низко над головами, застив<sup>6</sup> солнце, промчались немецкие пикировщики, ударили по шоссе из пулемётов.

Отец Виктора, энергичный большой мужчина в кожаной фу-ражке, с мясистым лицом и сильным голосом, вдруг побелел.

— В степь! Ложись! — крикнул он ужасным голосом.

Но ребята уже соскочили с телеги и бросились в пшеницу. Отец Виктора, отпустив вожжи, тоже соскочил с телеги и тут же на месте исчез, будто испарился, будто это был не мужик-лесничий<sup>7</sup> в тяжёлых сапогах, а дух бесплотный<sup>8</sup>. Одна Уля осталась на возу, — она сама не знала, почему она не побежа-

<sup>1</sup> Поры — мельчайшие отверстия на поверхности кожи.

<sup>2</sup> Паром — плот для переправы людей и экипажей, передвигающийся при помощи каната, протянутого от одного берега к другому.

<sup>3</sup> Табор — расположенная на стоянку масса людей.

<sup>4</sup> Селянский (от слова село) — сельский, крестьянский, деревенский.

<sup>5</sup> Пологий — понижающийся постепенно и незаметно.

<sup>6</sup> Застить — заслонять, загораживать свет.

<sup>7</sup> Лесничий — надзиратель, следящий за сохранностью леса.

<sup>8</sup> Бесплотный — бестелесный.

ла. Но в то же мгновение испуганные кони рванули так, что едва не выкинули её из телеги.

Уля попыталась поймать вожжи, но не смогла дотянуться: кони, едва не налетев грудью на бричку<sup>1</sup> впереди, взмыли на дыбы<sup>2</sup> и рванули в сторону, чуть не оборвав постромки<sup>3</sup>. Устойчивая, длинная, вместительная телега, переделанная из гарбы<sup>4</sup>, было опрокинулась, но снова стала на колёса. Уля, уцепившись одной рукой за край телеги, а другой за какой-то тяжёлый чувал<sup>5</sup>, напрягала все силы, чтобы не выпасть: её тут же задавили бы бесновавшиеся вокруг лошади других подвод.

Громадные гнедые кони, обезумев, рвались по вытопанному хлебу среди людей и подвод, вздымаясь на дыбы, храпя и грызгая пеной. Вдруг с брички впереди соскочил высокий широкоплечий светловолосый юноша с непокрытой головой и кинулся, казалось, под самых коней.

Уля не сразу сообразила, что произошло, но через мгновение она увидела меж конских голов, с взметёнными гривами и оскаленными пастьями, его очень юное, свежее, сверкающее глазами, с выражением необычайного напряжения и силы, с румянцем на щеках, скуластое лицо.

Схватив сильной рукой одного храпящего коня за вожжу у самых удил, юноша стоял между конём и дышлом<sup>6</sup>, больше напирая на коня, чтобы не быть сшибленным дышлом. Юноша стоял, рослый, аккуратный, в хорошо выглаженной серой паре с тёмнокрасным галстуком и выглядывавшим из карманчика пиджака белым костяным наконечником складной ручки. Другой рукой он поверх дышла пытался поймать за вожжу другого коня. Только по вздущемуся под серым пиджаком бугру мускулов и по резко обозначавшихся жилам у загорелой кисти руки, которой он держал коня, видно было, каких усилий это ему стоило.

— Тпру... тпру... — говорил он не очень громко, но повелительно. И в тот момент, как ему удалось схватить за вожжу другого коня, оба коня вдруг сразу присмирели в его руках. Они ещё встряхивали гривами, косясь на него звериными очами, но он не отпустил их, пока они вовсе не притихли.

Юноша выпустил вожжи из рук, и первое, что он сделал к немалому удивлению Ули, — он большими ладонями аккуратно пригладил свои почти не растрепавшиеся, расчёсанные на кося пробор светлорусые волосы. Потом он поднял на Улю со-

<sup>1</sup> Бричка — лёгкая повозка.

<sup>2</sup> Взмыть на дыбы — быстро подняться на задние ноги.

<sup>3</sup> Постромка — часть упряжи лошадей (толстый ремень или верёвка, идущие от хомута к экипажу).

<sup>4</sup> Гарба (по-украински) — длинная телега с высокими решётчатыми стенками для перевозки снопов.

<sup>5</sup> Чувал (областное слово) — большой мешок.

<sup>6</sup> Дышло — одиночная оглобля между двумя лошадьми.

вершено мокрое от пота скуластое лицо мальчика с большими глазами в длинных тёмных золотистых ресницах и широко, протодушно и весело улыбнулся.

— Добрые к-кони, могли разнести, — сказал он, чуть заикаясь, глядя с этой своей широкой улыбкой на Улю, которая, всё ещё держась за край телеги и за чувал, чуть раздувая ноздри, с уважением смотрела на него чёрными глазами.

Люди возвращались на шоссе, ища свои подводы и машины. В иных местах, должно быть, возле убитых или раненых, грудились женщины: оттуда доносились стоны и причитания<sup>1</sup>.

— Я так боялась, что они собьют тебя дышлом! — сказала Уля, чуть подрагивая ноздрями от волнения.

— Я сам того боялся. Да кони не злые, холощёные, — наивно сказал он и большой загорелой рукой с длинными пальцами небрежно потрепал по потной глянцевиной<sup>2</sup> шее коня, ближе к которому стоял.

Вдали, где-то уже на Донце послышались глухие и одновременно резкие удары бомбёжки.

— Очень людей жалко, — сказала Уля, оглядываясь вокруг. Подводы и люди уже шли мимо с обеих сторон, куда хватал глаз, будто большая шумливая река катилась.

— Да, жалко. А особенно матерей наших. Что они переживают! И что им ещё предстоит пережить! — сказал юноша, и лицо его сразу стало серьёзным, и на лбу его, не по возрасту, собрались резкие продольные морщины.

— Да, да... — беззвучно сказала Уля, сразу представив мать свою, как она лежала, маленькая, распластавшись<sup>3</sup> на выжженной земле.

Отец Виктора Петрова, так же внезапно, как и исчез, возник возле коней и с преувеличенным вниманием стал ощупывать постромки, шлеи<sup>4</sup>, вожжи. За ним, посмеиваясь и виновато крутя головой в узбекской шапочке и всё же не теряя обычного серьёзного выражения, показался Анатолий Попов, за ним Виктор, тоже немного сконфуженный.

— Гитара-то моя цела? — быстро спросил Виктор, озабоченно оглянув воз. И, увидев обёрнутую в стёганое одеяло, заложенную между узлов гитару, взглянул на Улю своими смелыми грустными глазами и рассмеялся.

Юноша, всё ещё стоявший между конями, поднырнул под дышло и под шею коню и, свободно и легко неся на широких плечах крупную непокрытую голову с светлыми волосами, пошёл к возу.

<sup>1</sup> Причитание — громкий плач с жалобой.

<sup>2</sup> Глянцевитый — блестящий.

<sup>3</sup> Распластаться — лечь неподвижно, вытянувшись.

<sup>4</sup> Шлея — часть конской упряжи (ремень, идущий от хомута вдоль туловища лошади).

— Анатолий! — радостно воскликнул он.

— Олег!

Они крепко взяли друг друга за руки повыше локтей и в то же время Олег покосился на Улю.

— Кошевой, — назвал он себя и протянул ей руку.

Одно плечо, левое, было у него чуть выше другого. Он был очень юн, совсем ещё мальчик, но от его загорелого лица, высокой лёгкой фигуры, даже от одежды, хорошо проглаженной, с этим тёмнокрасным галстуком и белым наконечником складной ручки, от всей его манеры двигаться, говорить с лёгким заиканием исходило такое ощущение свежести, силы, доброты, душевной ясности, что Уля сразу почувствовала доверие к нему.

А он с невольной наблюдательностью юноши мгновенно охватил глазами её облечённый<sup>1</sup> в белую кофту и тёмную юбку стройный стан с гибкой и сильной талией деревенской девушки, привычной к полевой страде, чёрные глаза, направленные на него, волнистые косы, ноздри причудливого выреза, длинные стройные загорелые ноги, едва ниже колен прикрытые тёмной юбкой, — вспыхнул, резко повернулся к Виктору и, смущённый, подал ему руку.

Олег Кошевой учился в самой крупной краснодонской школе имени Горького, расположенной в городском парке. Улю и Виктора он видел впервые, а с Анатолием он был связан той беспечной дружбой, которая нередко возникает между активными комсомольцами, дружбой от одного комсомольского совещания до другого.

— Да, вот где привелось встретиться, — сказал Анатолий. — А помнишь, ещё третьего дня мы заходили к тебе всем гамузом<sup>2</sup> воды напиться, и ты нас всех познакомил... со своей бабушкой! — засмеялся он. — Она что, — с тобой едет?

— Нет, б-бабка осталась. И мама осталась, — сказал Олег, и на лбу его снова собрались продольные морщины. — Нас пятеро: Коля, мамин брат, — никак язык не повернётся назвать его дядей! — улыбнулся он. — Жинка его, да их мальчишка, да д-дед, что нас везёт, — и он кивком головы указал на бричку впереди, откуда его уже несколько раз окликали.

Бричка, запряжённая низкорослым, прытким<sup>3</sup> на ноги буланым<sup>4</sup> коньком, теперь всё время катилась впереди, а гнедые кони так напирали сзади, что их влажные ноздри обдавали жаром шеи и уши сидящих в бричке...

Степь без конца и края тянулась на все концы света, туч-

<sup>1</sup> Облечённый — здесь: одетый.

<sup>2</sup> Всем гамузом (областное слово) — всей компанией, всем обществом.

<sup>3</sup> Прыткий — резкий, быстрый.

<sup>4</sup> Буланный — светложёлтый (о лошадях).

ные<sup>1</sup> дымы пожаров вставали на горизонте, и только далеко, далеко на востоке необыкновенно чистые, ясные, витые облака кучились<sup>2</sup> в голубом небе, и не было бы ничего удивительного, если бы вылетели из этих облаков белые ангелы с серебряными трубами.

И вспомнилась Олегу мама с мягкими, добрыми руками...  
...Мама, мама! Я помню руки твои с того мгновения, как я стал сознавать себя на свете. За лето их всегда покрывал загар, он уже не отходил и зимой, — он был такой нежный, ровный, только чуть-чуть темнее на жилочках. А может быть, они были грубее, руки твои, — ведь им столько выпало работы в жизни, — но они всегда казались мне такими нежными и я так любил целовать их прямо в тёмные жилочки.

Да, с того самого мгновения, как я стал сознавать себя, и до последней минуты, когда ты в изнеможении, тихо, в последний раз положила мне голову на грудь, провожая в тяжёлый путь жизни, я всегда помню руки твои в работе. Я помню, как они сновали<sup>3</sup> в мыльной пене, стирая мои простынки, когда эти простынки были ещё так малы, что походили на пелёнки, и помню, как ты в тулупчике<sup>4</sup>, зимой, несла вёдра на коромысле<sup>5</sup>, положив спереди на коромысло маленькую ручку в рукавичке, сама такая маленькая и пушистая, как рукавичка. Я вижу твои с чуть утолщёнными суставами пальцы на букваре, и я повторяю за тобой: «бе-а-ба, ба-ба». Я вижу, как сильной рукой своею ты подводишь серп под жито, сломленное жменью<sup>6</sup> другой руки, прямо на серп, вижу неуловимое сверкание серпа и потом это мновенное плавное, такое женственное движение рук и серпа, откидывающее колосья в пучке так, чтобы не поломать сжатых стеблей.

Я помню твои руки, неsgiбающиеся, красные, залубеневшие от студёной воды в проруби, где ты полоскала бельё, когда мы жили одни, — казалось, совсем одни на свете, — и помню, как незаметно могли руки твои вынуть занозу из пальца у сына и как они мгновенно продевали нитку в иголку, когда ты шила и пела — пела только для себя и для меня. Потому что нет ничего на свете, чего бы не сумели руки твои, что было бы им не под силу, чего бы они погнушались<sup>7</sup>! Я видел, как они месили глину с коровьим помётом, чтобы обмазать хату, и я видел руку твою, выглядывающую из шёлка, с кольцом на пальце, когда ты подняла стакан с красным молдавским вином. А с какой покор-

<sup>1</sup> Тучный — здесь: густой.

<sup>2</sup> Кучились — собирались в кучу, густой массой.

<sup>3</sup> Сновать — двигаться туда и сюда.

<sup>4</sup> Тулупчик — меховая шубка.

<sup>5</sup> Коромысло — деревянная луга для переноски вёдер.

<sup>6</sup> Жмень (по-украински) — горсть.

<sup>7</sup> Гнушаться — чуждаться, считая унижительным для своего достоинства или противным.

ной нежностью полная и белая выше локтя рука твоя обвилась вокруг шеи отчима<sup>1</sup>, когда он, играя с тобой, поднял тебя на руки, — отчим, которого ты научила любить меня и которого я чтил, как родного, уже за одно то, что ты любила его.

Но больше всего, на веки вечные запомнил я, как нежно гладили они, руки твои, чуть шершавые и такие тёплые и прохладные, как они гладили мои волосы, и шею, и грудь, когда я в полусознании лежал в постели. И когда бы я ни открыл глаза, ты была всегда возле меня, и ночник горел в комнате, и ты глядела на меня своими запавшими очами, будто из тьмы, сама вся тихая и светлая, будто в ризах<sup>2</sup>. Я целую чистые, святые руки твои!

Ты проводила на войну сыновей, — если не ты, так другая, такая же, как ты, — иных ты уже не дождёшься во веки, а если эта чаша миновала тебя, так она не миновала другую, такую же, как ты. Но если и в дни войны у людей есть кусок хлеба и есть одежда на теле и если стоят скирды<sup>3</sup> на поле, и бегут по рельсам поезда, и вишни цветут в саду, и пламя бушует в домне, и чья-то незримая сила подымает воина с земли или с постели, когда он заболел или ранен, — всё это сделали руки матери моей — моей и его, и его.

Оглянись же и ты, юноша, мой друг, оглянись, как я, и скажи, кого ты обижал в жизни больше, чем мать, — не от меня ли, не от тебя, не от него, не от наших ли неудач, ошибок и не от нашего ли горя седеют наши матери? А ведь придёт час, когда мучительным упреком сердцу обернётся всё это у материнской могилы.

Мама, мама!.. Прости меня, потому что ты одна, только ты одна на свете можешь прощать, положи на голову руки, как в детстве, и прости...

Такие мысли и чувства теснились в душе Олега. Он уже не мог забыть того, что мать его осталась «там» и бабушка Вера, «подруга дней моих суровых», которая тоже была мамой, мамой его матери и дяди Коли, тоже осталась «там».

И лицо Олега стало серьёзным, неподвижным, большие глаза в тёмнозолотистых ресницах заволоклись влажной пеленой. Он сидел, ссутулившись<sup>4</sup>, свесив ноги, сцепив длинные сильные пальцы больших рук, и резкие продольные морщины легли у него на лбу.

Притихли и дядя Коля, и Марина, и даже их маленький сынишка; и такая же тишина установилась на подводе, следовав-

---

<sup>1</sup> Отчим — неродной отец, муж матери.

<sup>2</sup> Риза — одеяние священника во время богослужения, обычно из светлой блестящей материи.

<sup>3</sup> Скирды — большие стога сена; снопы хлеба, сложенные в большие кучи для хранения под открытым небом.

<sup>4</sup> Ссутулиться — сгорбить спину.

шей за ними. Потом и буланный конёк и добрые гнедые кони в этой страшной жаре и толчее притомились, и обе подводы незаметно снова выбились на шоссе, по которому всё катился и катился поток людей, машин и подвод.

### ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

... В деревянном домике на окраине маленького шахтёрского городка, у вершины узкой тёмной балки, уходящей в степь, в горенке с одним окном, завешенным одеялом, сидят двое при свете коптилки: сильно пожилой мужчина с тяжёлым, оплывшим книзу лицом и юноша, полный сил, с широко открытыми глазами с тёмнозолотистых ресницах.

Есть что-то общее в них — и в молодом, и в старом, — даже в том, что в такой поздний час ночи, в эти злосчастные дни немецкой оккупации, оба они сидят одетые подчёркнуто чисто и аккуратно, при галстуках.

— Воспитывайте в себе гордость за наш родной Донбасс. Помнишь, как боролись наши старшие товарищи — Артём, Клим Ворошилов, Пархоменко? — говорит старик, и кажется, что это не тусклый свет коптилки, а отсвет тех давно прошедших битв отражается в строгих глазах его. — Помнишь? Сумеешь рассказать ребятам?

Юноша сидит, наивно склонив голову к левому плечу, которое немного выше правого.

— П-помню... Сумело, — отвечает он, чуть заикаясь.

— В чём слава нашего Донбасса? — продолжает старик. — Как бы трудно нам ни было — и в годы гражданской, и после, и в первую пятилетку, и вторую, и теперь, в дни войны, — всегда мы выполняли наш долг с честью. Ты это внуши ребятам...

Старик делает паузу. Юноша смотрит на него почтительно и молчит. Старик продолжает:

— И помните: бдительность — мать подполья... Картину «Чапаев» видел? — спрашивает он без улыбки.

— Видел.

— Почему погиб Василий Иванович Чапаев? Он погиб потому, что его дозоры уснули и близко подпустили неприятеля. Будьте начеку — и ночью, и днём, будьте аккуратны... Соколову Полину Георгиевну знаешь?

— Знаю.

— Откуда ты её знаешь?

— Работала вместе с мамой среди женщин. Они и сейчас д-друзят...

— Верно... Всё, что полагается знать только тебе и мне, будешь передавать Полине Георгиевне. А обычная связь — через Осьмухина, как сегодня. Нам встречаться больше нель-

зя... — И, как бы желая предупредить выражение обиды или огорчения, а то и протеста на лице юноши, Лютиков вдруг весело улыбается ему.

Но лицо Олега не выражает ни одного из этих чувств. Доверие, оказанное ему, — настолько, что Филипп Петрович даже позволил прийти на дом к себе, да ещё в такой час, когда ходить по городу нельзя, — наполняет сердце Олега чувством гордости и преданности беспредельной. Широкая детская улыбка озаряет его лицо, и он говорит тоже очень весело:

— Спасибо!

### ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

С того самого дня, как Анатолий Попов, Уля и Виктор с отцом вернулись в Краснодон после неудачной эвакуации, Анатолий не жил дома, а скрывался у Петровых, на хуторе Погорелом. Немецкая администрация ещё не проникла на хутор, и Петровы жили открыто.

Анатолий вернулся в Первомайку, когда ушли немецкие солдаты.

Нина Иванцова передала ему и Уле, чтобы они — лучше Уля, которую меньше знали в городе, — немедленно установили личную связь с Кошевым и наметили группу ребят и дивчат, первомайцев, которые хотят бороться против немцев и на которых можно положиться. Нина намекнула, что Олег действует не только от себя, и передала некоторые его советы: говорить с каждым поодиночке, не называть других, не называть, конечно, и Олега, но дать понять, что они действуют не от себя лично.

Потом Нина ушла. А Анатолий и Уля прошли к спуску в балочку, разделявшую усадьбу Поповых и Громовых, и сели под яблоней.

Вечер опустился на степь, на сады.

Немцы изрядно повредили<sup>1</sup> садик Поповых, особенно вишнёвые деревья, на многих из которых обломаны были ветви с вишнями, но всё же он сохранился внешне такой же уютный, опрятный, как и в те времена, когда им занимались вместе отец и сын.

Преподаватель естествознания, влюблённый в свой предмет, подарил Анатолию при переходе из восьмого класса в девятый книгу о насекомых: «Питомцы грушевого дерева». Книга была так стара, что в ней не было первых страниц и нельзя было узнать, кто её автор.

У входа в садик Поповых стояла старая-старая груша, ещё более старая, чем книга, и Анатолий очень любил эту грушу и эту книгу.

<sup>1</sup> Изрядно повредили — очень сильно повредили.

Осенью, когда поспевали яблоки, — яблоневого дерева были гордостью семейства Поповых, — Анатолий обычно спал на топчане<sup>1</sup> в саду, чтобы мальчишки не покрали яблок. А если была дождливая погода и приходилось спать в комнате, он проводил сигнализацию: опутывал ветви яблонь тонким шпагатом<sup>2</sup>, который соединялся с верёвкой, протянутой из сада в окно. Стоило коснуться хотя бы одной из яблонь, как у изголовья кровати Анатолия с грохотом обрушилась связка пустых консервных банок, и он в одних трусах мчался в сад.

И вот они сидели в этом саду, Уля и он, серьёзные, сосредоточенные, полные ощущения того, что с момента разговора с Ниной они вступили на новый путь жизни.

— Нам не приводилось говорить с тобой по душам, Уля, — говорил Анатолий, немножко смущаясь её близостью, — но я давно уважаю тебя. И, я думаю, пришла пора поговорить нам откровенно, до конца откровенно... Я думаю, это не будет увеличением нашей роли, зазнайством, что ли, дать отчёт в том, что именно ты и я можем взять на себя всё это — организовать наших ребят и дивчат на Первомайке. И мы должны договориться прежде всего, как мы сами-то будем жить... Например, сейчас идёт регистрация на бирже. Я лично не пойду на биржу. Я не хочу и не буду работать на немцев. Клянусь перед тобой, я не сойду с этого пути! — говорил он сдержанным, полным силы голосом. — Если придётся, я буду скрываться, прятаться, перейду на подпольное положение, погибну, но не сойду с этого пути...

— Толя, ты помнишь руки того немца, ефрейтора, который копался в наших чемоданах? Они были такие чёрные от грязи, заскорузлые<sup>3</sup>, цепкие, и я теперь их всегда вижу, — тихо говорила Уля. — В первый же день, как я приехала, я опять их увидела, как они рылись в наших постелях, в сундуке, они рвали платья материнские, мои и сестрины на свои шарфы-кошачки, они не брезговали даже искать в грязном белье, но они хотят добраться и до наших душ... Толя! Я провела не одну ночь без сна у нас на кухне, — ты знаешь, она у нас совсем отдельная, — я сидела в полной темноте, слушала, как немцы горланят в доме и заставляют прислуживать больную мать, я сидела так не одну ночь и проверяла себя. Я всё думала: хватит ли силы у меня, имею ли я право вступить на этот путь? И я поняла, что иного пути у меня нет. Да, я могу только так, или я не могу жить вовсе. Клянусь матерью своей, что до последнего дыхания я не сверну с этого пути! — говорила Уля, глядя на Анатолия своими чёрными глазами.

<sup>1</sup> Топчан — койка из досок на козлах.

<sup>2</sup> Шпагат — тонкая прочная верёвка.

<sup>3</sup> Заскорузлый — загрубевший.

Волнение охватило их. Некоторое время они молчали.

— Давай наметим, с кем поговорить в первую очередь, — хрипло сказал Анатолий, овладев собой. — Может быть, начнём с дивчат?

— Конечно, Майя Пегливанова и Саша Бондарева. И, конечно, Лиля Ивановна. А за Лилей пойдёт и Тоня. Думаю ещё — Лина Самошина, Нина Герасимова, — перечисляла Уля.

— А эта наша активистка, ну, как её, — пионервожатая?

— Вырикова? — лицо Ули приняло холодное выражение. — Знаешь, я тебя что скажу: бывало мы все, в тяжёлые дни, резко высказывались о том, о другом. Но должно же быть у человека в душе святое, то, над чем, как над матерью родной, нельзя смеяться, говорить неуважительно, с издёвкой. А Вырикова... Кто её знает? Я бы ей не доверилась...

— Отставить, присмотримся, — сказал Анатолий.

— Скорей уж Нина Минаева, — сказала Уля.

— Светленькая, робкая такая?

— Ты не думай, она не робкая, она застенчивая, а она очень твёрдых убеждений.

— А Шура Дубровина?

— О ней мы у Майи спросим, — улыбнулась Уля.

— Слушай, — почему ты не назвала лучшей своей подруги — Вали Филатовой? — вдруг с удивлением спросил Анатолий.

Уля некоторое время сидела молча, и Анатолий не мог видеть, какие чувства отражались на лице её.

— Да, она была лучшей моей подругой, я попрежнему люблю её, и я, как никто, знаю её доброе сердце, но она не может вступить на этот путь, она бессильная, — мне кажется, она может быть только жертвой, — сказала Уля, и что-то дрогнуло у неё в губах и в ноздрях. — А из ребят кого? — спросила она, точно желая отвести разговор.

— Среди ребят, конечно, Виктор, я уже с ним говорил. И если ты назвала Сашу Бондареву и назвала, конечно, правильно, то надо и Васю, брата её. И, конечно, — Женька Шепелёв и Володька Рагозин... Кроме того, я думаю, Боря Главан, знаешь, молдаванин, что эвакуировался из Бессарабии...

Так они перебирали своих подруг и товарищей. Месяц, уже пошедший на убыль, но всё ещё большой, красным заревом стоял за деревьями, густые резкие тени легли вдоль сада, тревожная таинственность была разлита во всей природе.

— Какое счастье, что и ваша и наша квартиры свободны от немцев! Мне невыносимо было бы видеть их особенно сейчас, — сказала Уля.

— Я, Олег Кошевой, вступая в ряды членов «Молодой гвардии», перед лицом своих друзей по оружию, перед лицом родной многострадальной земли, перед лицом всего народа торжественно клянусь: беспрекословно выполнять любые задания организации; хранить в глубочайшей тайне всё, что касается моей работы в «Молодой гвардии». Я клянусь мстить беспощадно за сожжённые, разорённые города и сёла, за кровь наших людей, за мученическую смерть героев-шахтёров. И если для этой местности потребуется моя жизнь, я отдам её без минуты колебаний. Если же я нарушу эту священную клятву под пытками или из-за трусости, то пусть моё имя, мои родные будут навеки прокляты, а меня самого покарает суровая рука моих товарищей. Кровь за кровь, смерть за смерть!..

— Я, Ульяна Громова, вступая в ряды членов «Молодой гвардии», перед лицом своих друзей по оружию, перед лицом родной многострадальной земли, перед лицом всего народа торжественно клянусь...

— Я, Иван Туркенич, вступая в ряды членов «Молодой гвардии», перед лицом своих друзей по оружию, перед лицом родной многострадальной земли, перед лицом всего народа торжественно клянусь...

— Я, Иван Земнухов, торжественно клянусь...

— Я, Сергей Тюленин, торжественно клянусь...

— Я, Любовь Шевцова, торжественно клянусь...

ГЛАВА СОРОК ВОСЬМАЯ

Ночь была так черна, что, вплотную соткнувшись лицами, нельзя было видеть друг друга. Сырой, холодный ветер мчался по улицам, завихряясь на перекрёстках, он погромыхивал крышами, стонал по трубам, свистел в проводах, дудел в столбах. Нужно было знать город так, как они, чтобы по невылазной грязи, во тьме, выйти точно к проходной будке.

Обычно на этом отрезке дороги — от ворошилоградского шоссе до клуба имени Горького — ходил ночью дежурный полицейский. Но, видно, грязь и стужа загнала его куда-нибудь под крышу.

Проходная будка была сложена из камня, — это была не будка, а целая башня с зубцами наверху, как в замке, внизу были конторка и проход на территорию шахты. Направо и налево от башни шла высокая каменная стена.

Они были точно созданы для того, чтобы проделать это вдвоём, — широкоплечий Сергей Левашов и Любка со своими сильными ногами и лёгкая, как огонь. Сергей выставил колено и протянул Любке руки. Она, не видя их, сразу попала в них.

своими маленькими ручками и тихо засмеялась. Она поставила ногу в ботинке на колено к нему и в то же мгновение была уже у него на плечах и положила руки на каменную ограду. Он крепко держал её за ноги повыше ботишков, чтобы она не упала. Платье её билось над его головой, как флаг. Она легла животом на ограду, уцепившись с той стороны за стену поджатыми под себя руками: руки у неё были недостаточно сильные, чтобы подтянуть Сергея, но в такой позе она смогла удержаться, когда он, крепко взявшись за её талию и упираясь ногами в стену, сам подтянулся на руках и быстрым сильным движением перенёс одну, потом другую руку на стену. Теперь Любке осталось только освободить ему место, — он был уже рядом с ней.

Поверхность толстой стены была ребром и мокрая, и очень легко было соскользнуть. Но Сергей стоял крепко, прислонившись лбом к стене башни и распластав по ней руки. Теперь Любка уже сама взлезала ему на плечи по спине, — всё-таки он был очень силён. Зубцы башни оказались на уровне её груди, и она легко взлезла на башню. Ветер так рвал её платье и жакет, что, казалось, вот-вот сбросит её. Но теперь самое трудное было позади...

Она вынула из-за пазухи свёрточек, нащупала шпагат, проделый сквозь оборку с узкого края, и, не давая развернуться на ветру, прикрепила к флагштоку. И только она отпустила, ветер подхватил это с такой яростной силой, что у Любки забилось сердце от волнения. Она достала второй, меньший свёрточек и надвязала у самого подножия флагштока так, что это было уже внутри, за зубцами.

Таким же образом, по спине Сергея, она спустилась на стену, но не решилась прыгнуть в грязь и села, свесив ноги. Сергей прыгнул и снизу тихо позвал её, подставив руки. Она не видела его, а только чувствовала его по голосу. У неё вдруг замерло сердце, — она протянула вперёд руки, зажмурила глаза и прыгнула. Она упала ему прямо в руки и обняла его за шею, и он подержал её так некоторое время. Но она высвободилась, прыгнула на землю и, дыша ему в лицо, возбуждённо зашептала:

— Серёжка! Захватим гитару, а?

— Идёт! И я переоденусь, — ты меня всего вывозила своими ботинками, — сказал он, счастливый.

— Ни-ни! Примут нас, какие есть! — Она весело засмеялась.

Вале и Серёжке Тюленину достался центр города — самый опасный район: немецкие часовые стояли у здания райисполкома, у здания биржи, полиций дежурил у дирекциона, под горой была жандармерия. Но тьма и ветер благоприятствовали им.

Серёжка облюбовал пустующий дом «бешеного барина»<sup>1</sup>, и, пока Валя дежурила с той стороны, дома, что была обращена к райисполкому, Серёжка взобрался по гнилой лестнице, приставленной к чердаку, должно быть, ещё в те времена, когда жив был «бешеный барин», — и всё обстригал в пятнадцать минут.

Вале было очень холодно, и она рада была, что всё так быстро кончилось. Но Серёжка, склонившись к самому её лицу и смеясь, тихо сказал:

— А у меня ещё один в запасе. Давай на дирекцион?

— А полицай?

— А пожарная лестница?

В самом деле, пожарная лестница была со стороны, противоположной главному подъезду.

— Пошли, — сказала она.

В чернильной тьме они спустились на железнодорожную ветку и долго шли по шпалам. Вале казалось, что они идут уже к Верхнедуванной, но это было не так: Серёжка видел в темноте, как кошка.

— Вот здесь, — сказал он. — Только иди за мной, а то слева косогор<sup>2</sup> и вылезешь прямо на школу полицаев...

Ветер бушевал среди деревьев парка, стучал голыми ветками и кропил Валу и Серёжку холодными каплями с веток. Серёжка уверенно и быстро вёл её из аллеи в аллею, и Валя догадалась, что они подошли к школе, — так сильно грохотала крыша.

Вот уже не слышно стало дрожания железной лестницы, по которой поднимался Серёжка. Его всё не было и не было... Валя стояла одна в темноте у подножия лестницы. Как бесприютна и ужасна была эта ночь с этим стуком голых веток! И какие слабые, беспомощные в этом тёмном ужасном мире были её мама и она, Валя, и маленькая Люся... А отец? Что, если он бредёт сейчас где-нибудь без крова полуслепой... Валя представила себе всё огромное пространство донецкой степи, взорванные шахты, мокрые городки и посёлки без света, с этими жандармериями... Вдруг ей показалось, что Серёжка никогда не спустится с этой грохочущей крыши, и мужество покинуло её. Но в это мгновение она почувствовала дрожание лестницы, и лицо её приняло холодное и независимое выражение.

— Ты здесь?.. — Он улыбался в темноте.

Она почувствовала, что он протянул к ней руку, и подала свою. Рука его была холодна, как ледышка... Что только он не переносил, — худенький, в дырявых ботинках, в которых он уже столько часов ходил по грязи, наверно они были полны воды, — в старенькой, прохудившейся курточке нараспашку?..

---

<sup>1</sup> Дом «бешеного барина» — так назывался в Краснодаре дом, принадлежавший до революции помещику, прозванному «бешеным».

<sup>2</sup> Косогор — склон горы.

Обеими руками она взяла его за щёки, они тоже были холодные, как ледышки.

— Ты же совсем ооченел, — сказала она, не отнимая рук от его лица...

Под сильно пасмурным, с мчащимися по нему низкими равными тучами небом на здании школы имени Ворошилова развевался на ветру красный флаг. Ветер то натягивал его в такой силе, что он весь вытягивался в трепещущий прямоугольник, то чуть отпускал его, и тогда он ниспадал складками, и края его завивались и развивались.

Красный флаг ещё больших размеров развевался на здании «бешеного барина». Большая группа немецких солдат и несколько человек в штатском стояли у дома, у приставной деревянной лестницы и смотрели на флаг. Двое солдат стояли на самой лестнице, один в том месте, где она опиралась на крышу, другой чуть пониже, и то поглядывали на флаг, то переговаривались со стоящими внизу. Но почему-то никто из них не лез выше и не убирал флага. На этой самой высокой точке флаг величественно развевался, видный всему городу.

## ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ

[Группа молодогвардейцев похитила с немецкой грузовой машины несколько мешков с подарками для солдат.

Мешки были спрятаны в подвале клуба. Через уличных мальчишек была организована продажа похищенных сигарет на рынке.

Полиция, извещённая о хищении, следила, и один из мальчиков был пойман с сигаретами начальником полиции Соликовским.

Испугавшись пыток, мальчишка признался, что получил сигреты в клубе от Мошкова, Стаховича и Вани Земнухова.]

Ваню Земнухова взяли на заре. Он собрался навестить Клаву в Нижне-Александровском, встал затемно, прихватил с собой горбушку хлеба, надел пальто и шапку-ушанку и вышел на улицу.

Необыкновенной чистоты и густоты яркожёлтая заря ровной полосой лежала на горизонте ниже серо-розовой дымки, растворявшейся в бледном ясном небе. Несколько дымок, розоватых и желтоватых, очень кучных и в то же время очень воздушных, стояло над городом. Ваня ничего этого не увидел, но он с детства помнил, что так это бывает в такое ясное раннее морозное утро, и на лице его без очков, — он спрятал их во внутренний карман, чтобы они не отпотевали, — появилось счастливое выражение. С этим счастливым выражением он и встретил подошедших к дому четырех человек, пока не рассмотрел, что это немцы-жандармы и новый следователь полиции Кулешов.

В тот момент, как они подошли вплотную к нему и Ваня узнал их, Кулешов уже что-то спрашивал его, и Ваня понял, что они пришли за ним. И в то же мгновение, как это всегда бывало у него в решающие минуты жизни, он стал предельно холодно-спокоен, и вопрос Кулешова дошёл до него.

— Да, это я, — сказал Ваня.

— Достукался... — сказал Кулешов.

— Я предупрежу родных, — сказал Ваня. Но он уже знал, что они не дадут ему войти в дом, и, отвернувшись, постучал в ближнее окно — не по стеклу, а кулаком по среднему переплёту рамы.

В то же мгновение Кулешов и солдат жандармерии схватили его за руки, и Кулешов быстро ощупал ему карманы пальто и сквозь пальто карманы брюк.

Открылась форточка, и выглянула сестра; Ваня не мог разглядеть выражение её лица.

— Скажи папане и маме, вызвали в полицию, пусть не тревожатся, скоро вернусь, — сказал он.

Кулешов хмыкнул, покачал головой и в сопровождении немца-солдата взошёл на крылечко: они должны были произвести обыск. А немец-сержант и другой солдат повели Ваню по узкой тропинке, протоптанной вдоль ряда домов в неглубоком снегу на этой малоезженной улице. Сержанту и солдату пришлось идти по снегу, они отпустили Ваню и пошли за ним в затылок.

Ваню, как он был в пальто и в шапке-ушанке и в потёртых ботинках со стоптанными каблуками, втокнули в маленькую тёмную камеру с заиндевевшими стенами и склизким полом и заперли за ним дверь на ключ. Он остался один.

Утренний свет чуть пробивался в узкую щель под потолком. В камере не было ни нар, ни койки. Острый запах исходил из параша<sup>1</sup> в углу.

Догадки, за что он взят, стало ли им известно что-нибудь о его деятельности, просто ли по подозрению, предал ли кто-нибудь, мысли о Клаве, о родителях, товарищах нахлынули на него. Но он привычным усилием воли, словно уговаривая себя: «Спокойно, Ваня, только спокойно», привёл себя к единственной и главной для него сейчас мысли: «Терпи, там видно будет...»

Ваня сунул очоленные руки в карманы пальто и прислонился к стене, склонив голову в ушанке, и так с присущим ему терпением простоял долго, он не знал сколько, — может быть, несколько часов.

Тяжёлые шаги одного или нескольких человек беспрерывно звучали вдоль по коридору из конца в конец, хлопали двери камер. Доносились отдалённые или более ближние голоса.

---

<sup>1</sup> Параша — ведро в тюремной камере для испражнений, помоев.

Потом шаги нескольких человек остановились у его камеры, и хриплый голос спросил:

— В этой?.. К майстеру!..<sup>1</sup>

И человек этот прошёл дальше, и ключ завизжал в замке.

Ваня отделился от стены и повернул голову. Вошёл немецкий солдат, не тот, что сопровождал его, а другой, с ключом, наверно дежурный по коридору, и «полицай», лицо которого было знакомо Ване, потому что за это время они изучили всех «полицаев».

— Не знаю, о чём вы говорите, — прямо взглянув на него, сказал Ваня своим глуховатым баском.

— Видал, а? — с удивлением и возмущением сказал Соликовский Кулешову. — Такое им советская власть дала образованию!

А мальчишка при словах Земнухова испуганно посмотрел на него и поёжился, точно ему стало холодно.

— Не совестно тебе? Мальчишку бы пожалел, ведь он за тебя страдает, — сказал Кулешов с тихой укоризной. — Посмотри, это что лежит?

Ваня оглянулся, куда указывал взгляд Кулешова. Возле стены лежал вскрытый мешок с подарками, часть из которых высыпалась на пол.

— Не знаю, какое это может иметь ко мне отношение. Мальчика этого вижу в первый раз, — сказал Ваня, становившийся всё более и более спокойным.

Майстеру Брюкнеру, которому Шурка Рейнбанд переводил всё, что они говорили, видимо, надоело это, и он, мельком взглянув на Рейнбанд, пробурчал что-то. Кулешов почтительно смолк, Соликовский вытянулся, опустив руки по швам.

— Господин майстер требует рассказать, сколько раз ты нападал на машины, с какой целью, кто соучастник, что делали кроме, — всё, всё рассказать... — глядя мимо Вани, холодно говорил Шурка Рейнбанд.

— Как я могу нападать на машины, когда я даже тебя не вижу, это ж тебе известно! — сказал Ваня.

— Прошу отвечать господину майстеру...

Но господину майстеру, видно, всё уже было ясно, и он, сделав движение пальцами, сказал:

— К Фенбонгу!

В одно мгновение всё переменялось. Соликовский громадной рукой схватил Ваню за воротник и, злобно сотрясая его, выволок в приёмную, повернул лицом к себе и с силой ударил его крест-накрест хлыстом по лицу. На лице Вани выступили багровые полосы. Один удар пришёлся на угол левого глаза, и глаз

---

<sup>1</sup> Майстер (правильнее: вахтмайстер) — унтер-офицерский чин в немецкой армии и жандармерии.

сразу стал оплывать. «Полицай», приведший его, схватил его за воротник, и они вместе с Соликовским, толкая Ваню и пиная коленями, поволокли его по коридору.

В помещение, куда его втокнули, сидел унтер Фенбонг и два солдата службы СС; они сидели с утомлёнными лицами и курили.

— Если ты, мерзавец, сейчас же не выдашь своих... — страшным шипящим голосом заговорил Соликовский, схватив Ваню за лицо громадной рукой с твёрдыми железными ногтями на пальцах.

Солдаты, докурив и ногой притушив окурки, неторопливыми умелыми движениями сорвали с Вани пальто и всю одежду и голого швырнули на окровавленный топчан.

Фенбонг красной рукой, поросшей светлыми волосами, так же неторопливо перебрал на столе линьки<sup>1</sup> из скрученного электрического провода и подал один Соликовскому, а другой взял себе, опробовав его взмахом в воздухе. И они вдвоём по очереди стали бить Ваню по голому телу, оттягивая линьки на себя. Солдаты держали Ваню за ноги и за голову. Кровь выступила по его телу после первых же ударов.

Как только они начали бить его, Ваня дал себе клятву, что никогда больше не раскроет рта, чтобы отвечать на вопросы, и никогда не издаст ни одного стога.

И так он молчал всё время, пока его били. Время от времени его переставали бить, и Соликовский спрашивал:

— Вошёл в разум?

Ваня лежал молча, не подымая лица, и его начинали бить снова.

Не более чем за полчаса до него на том же топчане так же били Мошкова. Мошков, как и Ваня, отрицал какое бы то ни было участие своё в хищении подарков.

Стахович, который жил далеко на окраине, был арестован позже них.

Стахович, как все молодые люди его складки, у которых основная двигательная пружина в жизни — самолюбие, мог быть более или менее стоек, мог даже совершить исторически-героический поступок на глазах у людей, особенно людей ему близких или обладающих моральным весом. Но при встрече с опасностью или трудностью один на один он был трус.

Он потерял себя уже в тот момент, как его арестовали. Но он был умён тем изворотливым умом, который мгновенно находит десятки и сотни моральных оправданий, чтобы облегчить своё положение.

При очной ставке с мальчишкой Стахович сразу понял, что новогодние подарки — единственная улика против него и его

---

<sup>1</sup> Линёк — короткая верёвка, служившая для наказания.

товарищей, которые не могут не быть арестованы. И мысль перевести всё это в уголовное дело, чистосердечно признаться, что они сделали это втроём, пустить слезу о страшной нужде и голоде и обещать искупить всё честным трудом, — мысль эта мгновенно пришла ему в голову. И он с такой искренностью проделал всё это перед майстером Брюкнером и другими, что они сразу поняли, с кем имеют дело. Его стали бить тут же в кабинете, требуя назвать и других сообщников: они же, трое, были вечером в клубе и не могли сами разгрузить машину!

На его счастье подошло время, когда майстер Брюкнер и вахтмайстер Балдер обедали. И Стаховича оставили в покое до вечера.

Вечером с ним обошлись ласково и сказали, что его сразу же отпустят, если он назовёт, кто похитил подарки. Он снова сказал, что они сделали это втроём. Тогда его отдали в руки Фенбонга и терзали до тех пор, пока не вырвали фамилию Тюленина. Про остальных он сказал, что не разобрал их в темноте.

Жалкий, он не знал, выдав Тюленина, он сверг себя в пучину ещё более страшных мучений, потому что люди, в руках которых он находился, знали, что они должны сломить его до конца именно теперь, когда он проявил слабость.

Его мучили и отливали водой и опять мучили. И уже перед утром, потеряв облик человека, он взмолился: он не заслужил такой муки, он был только исполнителем, были люди, которые приказывали ему, пусть они и отвечают! И он выдал штаб «Молодой гвардии» вместе со связными.

Он не назвал только Ульяны Громовой, — неизвестно почему. В какую-то сотую мгновения он увидел её прекрасные чёрные глаза перед собой и не назвал её.

## ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЁРТАЯ

[Серёжа Тюленин перебрался через фронт, вместе с Красной Армией участвовал в штурме города Каменска, был ранен в бою и снова оказался на занятой немцами территории. Вернувшись домой, он был арестован по доносу соседки.]

Серёжка молчал, когда его били, молчал, когда Фенбонг, скрутив ему руки назад, вздёрнул его на дыбу<sup>1</sup>. молчал, несмотря на страшную боль в раненой руке. И только когда Фенбонг проткнул ему рану шомполом<sup>2</sup>, Серёжка заскрипел зубами.

Всё же он был поразительно живуч. Его бросили в одиночную камеру, и он тотчас же стал выстукивать в обе стороны, узнавая соседей. Поднявшись на цыпочки, он обследовал щель

<sup>1</sup> Дыба — орудие пытки, на котором растягивали тело человека.

<sup>2</sup> Шомпол — металлический стержень для чистки ствола винтовки.

под потолком, — нельзя ли как-нибудь расширить её, выломать доску и выскользнуть хотя бы во двор тюрьмы; он был уверен, что уйдёт отовсюду, если вырвется из-под замка. Он сидел и вспоминал, как расположены окна в помещении, где его допрашивали и мучили, и на замке ли та дверь, что вела из коридора во двор. Ах, если бы не раненая рука!.. Нет, он не считал ещё, что всё потеряно. В эти ясные морозные ночи гул артиллерии на Донце слышен был даже в камерах.

Наутро сделали очную ставку ему и Витьке Лукьянченко.

— Нет... слышал, что живёт рядом, а никогда не видал, — говорил Витька Лукьянченко, глядя мимо Серёжки тёмными бархатными глазами, которые только одни и жили на его лице.

Серёжка молчал.

Потом Витьку Лукьянченко увели, и через несколько минут в камеру, в сопровождении Солиновского, вошла мать.

Они сорвали одежду со старой женщины, матери одиннадцати детей, швырнули её на окровавленный топчан и стали избивать проводами на глазах у её сына.

Серёжка не отворачивался, он смотрел, как бьют его мать, и молчал.

Потом его били на глазах матери, а он всё молчал. И даже Фенбонг вышел из себя и, схватив со стола железный ломик, перебил Серёжке в локте здоровую руку. Серёжка стал весь белый, испарина выступила на его лбу. Он сказал:

— Это — всё...

В этот день в тюрьму привезли всю группу арестованных из посёлка Краснодон. Большинство из них уже не могли ходить, их волокли по полу, взяв подмышки, и вбрасывали в переполненные и без того камеры. Коля Сумской ещё двигался, но один глаз у него был выбит плетью и вытек. Тося Елисеенко, та самая девушка, которая когда-то так жизнерадостно закричала, увидев взвившегося в небо турмана<sup>1</sup>, Тося Елисеенко могла только лежать на животе: перед тем как её отправить сюда, её посадили на раскалённую плиту.

Был день передачи, морозный, тихий, ни дуновения: стук топора, звон ведра у колодца, шаги пешеходов далеко разносились в воздухе, искрившемся от солнца и снега. Елизавета Алексеевна и Людмила, — они всегда носили передачу вместе, — связав узелок провизии и захватив подушку, которую Володя просил в последней записке, подходили тропинкой, проторённой в снегу через пустырь, к продолговатому зданию тюрьмы, которая со своими белыми стенами и снегом на крыше, с теневой стороны отливавшим синевою, сливалась с окружающей местностью.

Обе они, и мать и дочь, так похудели, что ещё больше стали походить друг на друга, их можно было принять за сестёр.

<sup>1</sup> Турман — голубь.

Мать, всегда порывистая и резкая, теперь вовсе казалась сотканной из одних нервных жил.

И уже по звуку голосов женщин, столпившихся у тюрьмы, и по тому, что все женщины были с узелками и не было никакого движения к дверям тюрьмы, Елизавета Алексеевна и Люся почувствовали недоброе. У самого крылечка, не глядя на толпу женщин, стоял, как всегда, немецкий часовой, а на крылечке, на перильцах, сидел «полицай» в жёлтом полушубке. Но он не принимал передач.

Ни Елизавете Алексеевне, ни Люсе не надо было разглядывать, кто здесь стоит, они встречались здесь каждый день.

— Сегодня их казнят, — сказала Люся.

— Нет, я только об одном молю бога, чтобы до самой смерти не сломали ему крыльев, чтобы не дрожал он перед этими псами, чтобы он плевал им в лицо! — говорила Елизавета Алексеевна с низким хриплым клокотаньем в горле и страшным блеском в глазах.

А в это время их дети проходили самые последние и самые страшные из испытаний, выпавших на их долю.

Земнухов, покачиваясь, стоял перед майстером Брюкнером, кровь текла по лицу его, голова бессильно клонилась, но Ваня всё время старался поднять её и всё-таки поднял и в первый раз за эти четыре недели молчания заговорил:

— Что, не можете?.. — сказал он. — Не можете!.. Столько стран захватили... Отказались от чести, совести... а не можете... сил нет у вас...

И он засмеялся.

Поздним вечером двое немецких солдат внесли в камеру Улю с запрокинутым бледным лицом и волочащимися по полу косами и швырнули к стене.

Уля, застонав, перевернулась на живот.

— Лилечка... сказала она старшей Иванихиной. — Подыми мне кофточку, жжёт...

Лиля, сама едва двигавшаяся, но до самой последней минуты ходившая за своими подругами как няня, осторожно завернула к подмышкам набухшую в крови кофточку, в ужасе отпрянула<sup>1</sup> и заплакала: на спине Ули, окровавленная, горела пятиконечная звезда.

Никогда, пока не сойдёт в могилу последнее из этих поколений, никогда жители Краснодона не забудут этой ночи. Необыкновенной ослепительной ясности ущербный месяц косо стоял на небе. На десятки километров видно было вокруг по степи. Мороз стоял нестерпимый. На севере по всему протяжению Донца вспыхивали зарницы и доносились то стихающие, то усиливающиеся гулы больших и малых боёв.

<sup>1</sup> Отпрянуть — отпрыгнуть, отскочить.

Никто из родных не спал в эту ночь. Да и не только родные не спали: все знали, что в эту ночь казнят молодогвардейцев. Люди сидели у коптилок, а то и в полной темноте в своих не-топленных квартирах и хибарках<sup>1</sup>, а кто выбегал во двор и долго стоял на морозе, прислушиваясь, не донесутся ли голоса, или урчание машин, или выстрелы.

Никто не спал и в камерах, кроме тех, кто находился уже в бесчувственном состоянии. Те из молодогвардейцев, которых выводили на пытки последними, видели, что в тюрьму приехал бургомистр Стаценко. Все знали, что бургомистр<sup>2</sup> приезжает в тюрьму перед казнью, когда нужна его подпись на приговоре...

В камере тоже слышны были величественные гулы, перекачывавшиеся по Донцу.

Уля, полужёжа на боку, прислонившись к стене головой, выстукивала соседям-мальчишкам:

— Ребята, слышите, слышите?... Крепитесь... Наши идут... Всё равно наши идут...

С прошлой передачей Уле передали чистое бельё, она начала теперь связывать старое в узелок. Вдруг слёзы стали душисть её, она была не в силах совладать с ними и, схватив окровавленное бельё и закрыв им лицо, чтобы её не было слышно, уткнулась в угол камеры и некоторое время так посидела.

Их выводили на пустырь, облитый месяцем, и сажали в два грузовика. Первым вынесли лишившегося всяких сил и потерявшего рассудок Стаховича и, раскачав, бросили в грузовик. Многие молодогвардейцы не могли идти сами. Вынесли Анатолия Попова, у которого была отрублена ступня. Витю Петрова с выколотыми глазами вели под руки Рагозин и Женя Шепелёв. У Володи Осьмухина была отрублена правая рука, но он шёл сам. Ваню Земнухова вынесли Толя Орлов и Витя Лукьянченко. За ними, шатаясь, как былинка<sup>3</sup>, шёл Серёжка Тюленин.

Их посадили в разные грузовики — девушек и юношей.

Солдаты, захлопнув боковые откидные стенки грузовиков, влезли через борта в переполненные машины. Унтер Фенбонг занял место рядом с водителем на переднем грузовике. Машины тронулись. Их везли дорогой через пустырь мимо зданий детской больницы и школы имени Ворошилова. Передней шла машина с девушками. Уля, Саша Бондарева и Лиля запели:

Замучен тяжёлой неволей,  
Ты славную смертью почил...

<sup>1</sup> Хибарка — избёнка.

<sup>2</sup> Бургомистр — глава городского управления (в Западной Европе и на оккупированной немцами территории).

<sup>3</sup> Былинка — стебелёк травы.

Девушки присоединялись к ним. Запели и мальчики на задней машине. Пение их далеко разносилось в морозном неподвижном воздухе.

Грузовики, оставив слева последний дом, выехали на дорогу, ведущую к шахте № 5.

Серёжка, сидя прижатый к задней стенке грузовика, жадно вбирал ноздрями морозный воздух... Вот грузовики уже миновали отворот на выселки, скоро они должны были пересечь балку... Нет, Серёжка знал, что он не в силах сделать это. Но впереди него, стоя на коленях, ехал Ковалёв со связанными за спиной руками. Он был ещё силен, недаром ему связали руки. Серёжка толкнул его головой. Ковалёв обернулся.

— Толька... Сейчас балка... — прошептал Серёжка и кивнул головой вбок.

Ковалёв, покосившись за плечо себе, пошевелил связанными руками. Серёжка припал зубами к узлу, связывавшему руки Ковалёва. Серёжка был так слаб, что несколько раз откидывался в стенке грузовика и испариной на лбу. Но он боролся так, как если бы он боролся за свою свободу. И вот узел был развязан. Ковалёв, попрежнему держа руки за спиной, пошевелил ими.

...Подыметесь мститель суровый,  
И будет он нас посильней... —

цели девушки и юноши.

Грузовики съехали в балку, и передний уже взбирался на подъём. Второй, рыча и буксуя, тоже начал въезжать. Ковалёв, став ногой на заднюю стенку, прыгнул и побежал по балке, вспахивая снег.

Прошло первое мгновение растерянности, а грузовик в это время выполз из балки, и Ковалёва не стало видно. Солдаты не решались выпрыгнуть, чтобы не разбежались другие арестованные, начали наугад стрелять из грузовика. Услышав выстрелы, Фенбонг остановил машину и выпрыгнул. Грузовики стали. Фенбонг яростно ругался своим бабьим голосом.

— Ушёл!.. Ушёл!.. — с невыразимой силой торжества кричал Серёжка тонким голосом и ругался самыми страшными словами какие только знал. Но эти ругательства звучали сейчас в устах Серёжки, как святое заклятие.

Вот уже виден был косо свалившийся набок после взрыва копёр шахты № 5.

Юноши и девушки запели «Интернационал».

Их всех сгрузили в промёрзшее помещение бани при шахте и некоторое время продержали тут: поджидали, пока приедут Брюкнер, Балдер и Стаценко. Жандармы начали раздевать тех, у кого была хорошая одежда и обувь.

«Молодогвардейцы» получили возможность протеститься друг

с другом. И Клава Ковалёва смогла сесть рядом с Ваней и положить ему руку на лоб и уже не разлучаться с ним.

Их выводили небольшими партиями и сбрасывали в шурф<sup>1</sup> по одному. И каждый, кто мог, успевал сказать те несколько слов, какие он хотел оставить миру.

Опасаясь, что не все погибнут в шурфе, куда одновременно сбросили несколько десятков тел, немцы спустили на них две вагонетки. Но стон из шахты слышен был ещё на протяжении нескольких суток.

Они стояли перед фельдкомендантом Клером, связанные за кисти рук, Филипп Петрович Лютиков и Олег Кошевой. Всё время, пока их держали в Ровеньках, они не знали, что сидят в одной тюрьме. Но этим утром их свели и связали вместе и повели на очную ставку в надежде заставить их указать след всего подполья — не только в районе, а и во всей области.

Зачем они их связали? Они боялись их не связанных. Враги хотели также показать, что им известно, какую роль играли эти двое в организации.

Седые волосы на голове Филиппа Петровича слиплись в застывшей крови, истерзанная одежда прилипла к ранам на его большом теле, и каждое движение доставляло ему мучительную боль, но он ничем не выдавал этого. Тяжкие муки и голод подсушили тело Филиппа Петровича, а на лице его резче обозначились те черты силы, которые делали его лицо таким приметным в молодости и говорили о великой душевной его мощи. Выражение глаз у него было спокойное и строгое, как всегда.

Олег стоял, бессильно свесив правую перебитую руку, с лицом, почти не изменившимся, только виски у него стали совершенно седые.

Перед Клером, закосневшим<sup>2</sup> в убийствах, потому что он ничего другого не умел делать, стояли старый рабочий и шестнадцатилетний мальчик, народные вожаки — старый и молодой. И старый говорил:

— Слово моё не к вам, не о вас... Мы вас разбили, вы обречены. Да беда в том, что живёт ещё та сила на свете, что вас породила, она ещё не издохла... Эта сила — власть денег над людскими душами. Это от неё пошла по свету язва людоедства... Язва людоедства, страшнее, чем чума, разъедает души людей. Не только отдельных людей — целых народов... Она, эта язва людоедства, будет разъедать мир до тех пор, пока все богатства, все блага земли будут не в руках людей, кои их создают, а в руках вырожденцев — нелюдей. Но я скажу: напрасно, напрасно эти вырожденцы надеются уйти от суда людей! Их власти, власти денег, приходит конец. Напрасно, напрасно, эти господа в белоснежном белье надеются, что всё сойдёт им с рук!.. Ис-

<sup>1</sup> Шурф — шахта для исследования залежей.

<sup>2</sup> Закоснеть — окончательно погрязнуть в чём-нибудь дурном.

тория их уже судит, судит страшным судом. Забрызганные кровью людей, замученных ими, они стоят перед её грозными очами. И нет уже такой силы на свете, какая могла бы их спасти!..

Филипп Петрович говорил, а Олег стоял молча рядом с ним, и большие глаза его из-под тёмных золотящихся ресниц смотрели с ясным, с ещё более ясным, чем всегда, выражением.

Лютикова и Кошевого подвергли новым страшным испытаниям, но можно сказать, что они уже ничего не чувствовали: дух их парил<sup>1</sup> беспредельно высоко, как только может парить великий творческий дух человека.

Потом их разлучили, и Филипп Петрович был снова отвезён в краснодонскую тюрьму. Дело Центральных мастерских всё ещё не было доследовано.

Однако товарищи в подполье так и не смогли оказать помощь заключённым, не только потому, что тюрьма сильно охранялась, но и потому, что теперь весь город был переполнен отступающими вражескими войсками.

Филиппа Петровича Лютикова и его товарищей постигла та же участь, что и «молодогвардейцев»: их сбросили в шурф шахты № 5.

Олег Кошевой был расстрелян в Ровеньках тридцать первого января днём, и тело его вместе с телами других людей, расстрелянных в этот день, было закопано в общей яме.

А Любу Шевцову мучили ещё до седьмого февраля, всё пытаясь добыть у неё шифр и радиопередатчик. Перед расстрелом ей удалось переслать на волю записку матери:

«Прощай, мама, твоя дочь Люба уходит в сырую землю».

Когда Любу вывели на расстрел, она запела одну из самых своих любимых песен:

На широких московских просторах...

Ротенфюрер СС, ведший её на расстрел, хотел поставить её на колени и выстрелить в затылок, но Люба не стала на колени и приняла пулю в лицо.

---

<sup>1</sup> Парить — здесь: находиться в области возвышенных идей и чувств.

# А. Т. ТВАРДОВСКИЙ

(р. 1910)

## ВАСИЛИИ ТЁРКИН

(Отрывки из поэмы.)

### Из главы «Переправа»

[Тёмной холодной ноябрьской ночью рота начала переправляться через реку на правый берег, занятый врагом. Артиллерийский обстрел вынудил прервать переправу. Успел переправиться только первый взвод, с которым была потеряна всякая связь.]

Два бойца сидят в дозоре  
Над холодной водой.

То ли снится, то ли мнится<sup>1</sup>,  
Показалось, что невесть<sup>2</sup>,  
То ли иней на ресницах,  
То ли вправду что-то есть?

Видят, маленькая точка  
Показалась владеке:  
То ли чурка<sup>3</sup>, то ли бочка  
Проплывает по реке?  
— Нет, не чурка и не бочка —  
Просто глазу маята<sup>4</sup>.

— Не пловец ли одиночка?  
— Шутишь, брат. Вода не та!  
— Да, вода. Помыслить страшно.  
Даже рыбам холодна.  
— Не из наших ли вчерашних  
Поднялся какой со дна?..

Оба разом присмирели.  
И сказал один боец:

---

<sup>1</sup> Мнится — кажется.

<sup>2</sup> Что невесть — неизвестно что.

<sup>3</sup> Чурка — кусок дерева.

<sup>4</sup> Глазу маята — мучительно смотреть.

— Нет, он выплыл бы в шинели,  
С полной выкладкой<sup>1</sup> мертвец.

Оба здорово продрогли,  
Как бы ни было, — впервой.

Подошёл сержант с биноклем,  
Присмотрелся: нет, живой.  
— Нет, живой. Без гимнастёрки.  
— А не фриц? Не к нам ли в тыл?  
— Нет. А может, это Тёркин? —  
Кто-то робко пошутил.

— Стой, ребята, не соваться,  
Толку нет спускать понтон.  
— Разрешите попытаться?  
— Что пытаться!  
— Братцы, — он!

— Стой, ребята, не соваться,  
Толку нет спускать понтон.  
— Разрешите попытаться?  
— Что пытаться!  
— Братцы, — он!

И у заберегов<sup>2</sup> корку  
Ледяную оломав.  
Он как он, Василий Тёркин,  
Встал живой, — добрался вплавь.  
Гладкий, голый, как из бани,  
Встал, шатаясь тяжело.  
Ни зубами, ни губами  
Не работает — светло.

Подхватили, обвязали,  
Дали валенки с ноги.  
Пригрозили, приказали —  
Можешь, нет ли, а беги.  
Под горой, в штабной избушке,  
Парня тотчас на кровать  
Положили для просушки,  
Стали спиртом растирать.  
Растирали, растирали...  
Вдруг он молвит, как во сне:  
— Доктор, доктор, а нельзя ли —

---

<sup>1</sup> С полной выкладкой — в полном обмундировании и с оружием.

<sup>2</sup> У заберегов (местное выражение) — около берега.

Изнутри погреться мне,  
Чтоб не всё на кожу тратить? --

Дали стопку — начал жить,  
Приподнялся на кровати:

— Разрешите доложить...

Взвод на правом берегу

Жив-здоров назло врагу!

Лейтенант всего лишь просит

Огоньку туда подбросить.

А уж следом за огнём

Встанем, ноги разомнём.

Что там есть, перекалечим —

Переправу обеспечим... —

Доложил по форме, словно

Тотчас плыть ему назад.

— Молодец! — сказал полковник. —

Молодец! Спасибо, брат...

И с улыбкою неробкой

Говорит тогда боец:

— А ещё нельзя ли стопку,

Потому как молодец?

Посмотрел полковник строго,

Покосился на бойца.

— Молодец, а будет много —

Сразу две.

— Так два ж конца...

Переправа, переправа!

Пушки бьют в кромешной мгле.

Бой идёт святой и правый.

Смертный бой не ради славы,

Ради жизни на земле.

### Из главы «Кто стрелял?»

Со страшным рёвом

Самолёт ныряет вниз,

И сильнее нету слова

Той команды, что готова

На устах у всех:

— Ложись!..

И какой ты вдруг покорный  
На груди лежишь земной,  
Заслонясь от смерти чёрной  
Только собственной спиной.

Ну-ка, что за перемена?  
То не шутки — бой идёт.  
Встал один и бьёт с колена  
Из винтовки в самолёт.

Бой неравный, бой короткий,  
Самолёт чужой, с крестом,  
Покачнулся, точно лодка,

Сам стрелок глядит с испугом:  
Что наделал невзначай.

Ухнул в землю, завывая,  
Шар земной пробить желая  
И в Америку попасть.  
— Кто стрелял? — звонят  
из штаба. —  
— Кто стрелял, куда попал?

Вот он сам стоит с винтовкой,  
Вот поздравили его.  
И как будте всем неловко —  
Неизвестно отчего.

Виноваты, что ль, отчасти?  
И сказал сержант спроста:  
— Вот что значит — парню счастье,  
Глядь — и орден, как с куста!

Не промедливши с ответом,  
Тёркин шутку в адрес шлёт:  
— Не горюй, у немца этот  
Не последний самолёт...

С этой шуткой-поговоркой,  
Облетевшей баталон,  
Перешёл в герои Тёркин, —  
Это был, понятно, он.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. А. С. Пушкин . . . . .	1
2. М. Ю. Лермонтов . . . . .	2
3. Н. В. Гоголь . . . . .	4
4. И. С. Тургенев . . . . .	5
5. Н. А. Некрасов . . . . .	5
6. Л. Н. Толстой . . . . .	11
7. А. П. Чехов . . . . .	12
8. А. М. Горький . . . . .	15
9. В. В. Маяковский . . . . .	17
10. М. А. Шолохов . . . . .	17
11. А. А. Фадеев . . . . .	17
12. А. Т. Твардовский . . . . .	20

### СБОРНИК ТЕКСТОВ ПО РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

---

Сдано в набор 1/VII 1964 г. Подписано к печати 2/IX 1964 г. 60 × 90 1/16. Печ. л. 13  
Тираж 3000 экз. МВ-06186. Типография им. Х. Хейдеманна, ЭССР, г. Тарту,  
ул. Юликооли, 17/19. II. Заказ 5455.

---

Цена 25 коп.

ОПЕЧАТКИ

Страница	Строка	Отпечатано	Должно быть	По вине кого	
1	2	3	4	5	
6	12	сверху	самый	самых	Типографии Редактора
7	5	»	Грандисон	Грандисон	
8	13	»	Точь в точь	точь-в-точь	»
11	7	»	Данво	Давно	»
12	4	снизу	а аллее нас	в аллее нас	»
14	14	»	шевелиет	шевелият	»
15	15	сверху	из далёка	издалека	»
16	4	снизу	салдатам	солдатам	»
18	1	»	шгмел	шумел	»
19	1	»	иззябнуть	иззябнут	»
26	5	»	сказал	скакал	»
27	9	»	сделал	сделала	»
31	5	сверху	прекратились	превратились	»
32	19	снизу	Чорта	Чёрта	»
32	18	»	почувствов	почувствовав	»
33	20	»	наперез	наперерез	»
35	9	»	Понянки	Панянки	»
36	16	сверху	Сстой!	Стой!	»
40	10	»	Ничго	Ничего	»
45	8	»	повора	повара	»
45	9	»	повора	повара	»
45	20	»	двадцать в лишком	двадцать с лишком	»
47	8	сверху	бездействий	бездействи	»
49	2	снизу	невдакеле	невдалеке	»
50	14	»	последни	последний	»
51	3	сверху	с лёгкив упрёком	с лёгким упрёком	»
55	2	»	глядучи	глядючи	»
55	11	»	сравнилася	сравнилася	»
55	17	снизу	случалось	случилось	»
55	6	»	Всё к яже...	Всё к яме...	»
55	5	»	Под манифесту	По манифесту	»
56	1	сверху	ходили	холили,	»
59	10	»	Анна Павловная	Анна Павловна	»
60	16	снизу	Веретёна	Веретена	»
60	11	»	красасица-княжня	красавица-княжня	»
61	16	сверху	monseigneur	monseigneur	»
62	9	снизу	красасица	красавица	»
64	11	сверху	пивычно	привычно	»
64	3	снизу	адьютанты	адьютанты	»
65	14	сверху	княз	князь	»
65	27	»	Пеър	Пьер	»
65	1	снизу	тад	так	»
69	12	»	Репин	Репнин	»
70	16	сверху	тещесланием	тщеславием	»
70	27	»	представлялась	представлялись	»
72	14	»	велелившуюся	веселившуюся	»
74	3	»	краснмый	красными	»
79	11	снизу	ер	её	»
83	13	сверху	болезненных	болезненным	»
86	21	»	звание	знание	»
86	6	снизу	гонь	в огонь	»
91	17	»	позации	позиции	»

1	2	3	4	5
91	8 »	деруться	дерутся	Редактора
92	21 »	знятые	занятые	»
92	12 »	адьюцант	адьютант	»
97	24 сверху	оп	ои	»
99	6 сверху	vt. all сказал он	сказал он	»
100	14 снизу	ничего в собой нет	ничего с собой нет	»
101	21 сверху	их свезух	их свезут	»
105	6 снизу	положительное	положительного	»
117	2 сверху	погуду	погоду	»
119	2 »	Коваленков	Коваленко	»
123	10 снизу	Аа	А	»
124	11 »	силнее	сильнее	»
125	9 сверху	окунвулись в море	окунулись в море	»
125	17 »	А потм упал	А потом упал	»
125	12 снизу	осбенно	особенно	»
128	2 сверху	судях	судят	»
128	10 »	кто-то	как-то	»
132	22 сверху	беспоколи	беспокоила	»
133	22 »	казалось	качалось	»
135	5 снизу	Пален	Павел	»
140	8 сверху	и евреи, а австрияки	и евреи, и австрияки	»
141	16 сверху	безконечную	бесконечную	»
146	15 »	дважны	дважды	»
146	3 снизу	по звяками	по звуками	»
150	24 сверху	а в страхе	и в страхе	»
155	8 »	Ленинские лозуги	Ленинские лозунги	»
155	10 »	лужею?	лужею, —	»
156	8 снизу	уроган	ураган	»
159	2 сверху	Съездов Советов	Съезда советов	»
162	12 снизу	вставали все...	встали все...	»
162	4 »	быть	бить	»
163	17 сверху	увидать	увидеть	»
164	3 »	это	эта	»
164	23 »	Только не упасть.	Только б не упасть,	»
165	9 »	Станьте на месте?	Станьте на месте!	»
167	1 »	дрожит-	дрожат	»
172	16 »	что	чтобы	»
175	5 снизу	лагоднях	ладонях	»
176	19 сверху	чер те	черт те	»
177	7 снизу	тресятся...	тресутся...	»
181	1 сверху	изпуганные	испуганные	»
181	13 »	грызгая пеной	брызгая пеной	»
188	25 »	подполное	подпольное	»
189	10 »	тебя	тебе	»
190	15 снизу	дудел	гудел	»
190	11 снизу	клубла	клуба	»
193	7 сверху	в такой силой	с такой силой	»
194	18 снизу	древь	дверь	»
200	11 »	переполноенные	переполненные	»
201	14 »	цели девушки	пели девушки	»
204	24 сверху	маята	маета	»
204	1 снизу	маята	маета	»
207	3 снизу	баталон	батальон	»

Цена 25 коп.

XIV

A-2/659

TÜ RAAMATUKOGU



1 0300 00547023 4